

Денис Нивакшонов



Прусская нить

Денис Нивакшонов

Прусская нить

«Автор»

2026

Нивакшонов Д.

Прусская нить / Д. Нивакшонов — «Автор», 2026

От заброшенного кладбища в небольшом посёлке Розовка до полей Семилетней войны – один необъяснимый шаг. Николай Гептинг искал свои корни, а нашёл другую жизнь. Из начала XXI века он попадает в Пруссию середины XVIII, в разгар правления Фридриха Великого. Бывший советский солдат, он снова идёт на службу – теперь в прусскую артиллерию. Его ждут битвы, дружба, любовь и долгая жизнь в далёком прошлом. Но какова цена этого второго шанса?

© Нивакшонов Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1: Пыльная шкатулка	5
Глава 2: Немецкие корни	7
Глава 3: Дорога в Мариуполь	10
Глава 4: Карта из прошлого	13
Глава 5: Возвращение в Розовку	16
Глава 6: Заброшенный пустырь	18
Глава 7: Камень предков	20
Глава 8: Последний ритуал	22
Глава 9: Удар стихии	24
Глава 10: Чужак в траве	26
Глава 11: Пустые карманы	28
Глава 12: Первые шаги	30
Глава 13: Голодные ночи	32
Глава 14: Дорога в никуда	35
Глава 15: Легенда для чужака	38
Глава 16: Цена миски супа	41
Глава 17: Язык врага и друга	44
Глава 18: Слухи о короле	47
Глава 19: Вербовщик	50
Глава 20: Королевский талер	53
Глава 21: Прощание с Золотым львом	56
Глава 22: Колонна новобранцев	58
Глава 23: Первый взгляд на казарму	61
Глава 24: Солдатская похлёбка	64
Глава 25. Стальной отец капрал Фогель	66
Глава 26. Язык команд	70
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Денис Нивакшенов

Прусская нить

Глава 1: Пыльная шкатулка

Август 2003 года влился в окрестности Розовки густой, медовой истомой, когда время, казалось, теряет свою власть, замедляясь до темени застывшего янтаря. Воздух, тяжёлый от зноя и пыльцы с ближних подсолнуховых полей, стоял недвижимо, и лишь изредка ленивый, обжигающий ветерок со степи шевелил поблёкшие занавески в открытых окнах старого, выцветшего до состояния пыльной земли дома. Сам же он, слепленный ещё прадедами из самого нутра этой степи – глины, соломы и навозной крутки, – теперь доживал свой век с молчаливым, стоическим достоинством, медленно возвращаясь обратно в прах. Стены, толщиной в добрый локоть, хранили прохладу древних подземелий, но штукатурка, не раз и не два перебеленная известью, осыпалась лепёшками, обнажая бурое, словно живое, тело самана, прошитое трещинами, как старые вены. Буйные заросли дикого винограда цепко оплели стены, словно пытаясь удержать последними зелёными усиками от окончательного распада.

Внутри, на пыльном чердаке, под низко нависшей, подобно палубе старинного корабля, стропильной системой, стоял на коленях Николай Гептинг. Ему было семьдесят лет, и тяжесть каждого из этих годов он носил в себе – не как бремя, а как давно привычную, почти неощутимую тяжесть старого, изношенного пальто. Движения старика были медленны и точны, лишены юношеской суеты; казалось, он не разбирает хлам, а вёл неторопливую беседу с призраками минувшего. Лучи послеполуденного солнца, пробиваясь сквозь щели в кровле и застрявшие в слуховом окне паутины, резали сумрак чердака золотистыми клинками, в которых кружились мириады пылинок – бесчисленные, как дни, ушедшие в небытие.

Здесь, в этом царстве забвения, хранилось немало реликвий, чьи смыслы и истории были давно стёрты временем. Старая, с отвалившейся лапкой швейная машинка «Зингер», сундук с истлевшими от старости книгами на готическом немецком, пожелтевшие фотографии в картонных рамках, на которых застыли суровые, незнакомые лица людей в странных костюмах. Николай бережно перекладывал их, и под пальцами проступали контуры чужой, забытой жизни – жизни, которая, как он смутно чувствовал, была и его жизнью тоже.

Его руки, покрытые сеткой морщин и тёмными пигментными пятнами, натруженные и жилистые, остановились на небольшой, неприметной деревянной шкатулке, задвинутой далеко под конёк крыши, в самую темноту, где властвовали лишь мыши да серебристая кисея паутины. Она была сработана грубовато, без изыска, из тёмного, почти чёрного дерева, почерневшего ещё больше от времени и пыли. Крышка не была заперта. Тишина на чердаке была столь глубока, что Николай услышал тихий, скрипучий вздох, с которым открыл её.

Внутри, на бархатной подкладке, когда-то бывшей бордовой, а ныне выцветшей до грязно-розового, побуревшей и истлевшей по краям, лежала она. Курительная трубка.

Николай замер, и время словно остановилось. Он не был курильщиком, никогда не тянулся к табаку, но этот предмет обладал для него странной, необъяснимой магнетической силой. Он бережно, с почти религиозным трепетом, извлек трубку из пыльного ложа. Тяжесть в ладонях была неожиданной, веской, осязаемой. Она была выточена из цельного куска тёмного, морёного дуба, и время оставило на её поверхности благородную патину, отчего дерево казалось живым, тёплым, вобравшим в себя тепло бесчисленных прикосновений. Длинный мундштук был из тусклого, потемневшего от времени серебра, и на нём у самого соединения с чубуком была выгравирована крошечная, изящная ветвь дуба с тремя листочками. Работа была тонкой, ювелирной. Но самое примечательное ждало его на чашечке – небольшой, почти

незаметный скол, странной, неправильной формы, напоминавший крошечный остров на карте неведомого моря.

Он сидел на корточках посреди пыльного чердака, крутя трубку в пальцах, и сквозь шершавость векового дерева и холод металла к нему словно бы проступало эхо другого времени. Он вспомнил отца, его натруженные, вечно покрытые машинным маслом руки, бережно передающие ему эту трубку много лет назад. «Это от наших немцев, Коля, – говорил он глуховатым, уставшим голосом. – Из старой жизни. Храни». И он хранил. Не зная зачем. Не понимая, что связывает его, одинокого старика из украинской глубинки, с этим чуждым, почти сказочным словом «немцы».

Николай поднялся, суставы негромко хрустнули, он подошёл к пыльному слуховому окну. Прислонившись лбом к прохладному стеклу, посмотрел вниз, на пустынную улицу посёлка. Розовка угасала. Молодёжь уезжала в города, старики доживали свой век в таких же, как и его, пустых домах-склепах. Дорога, раскалившая солнцем, была пуста. Ни машин, ни людей. Лишь пара тощих кур клевали что-то у забора, да вдали, у старого колодца, спала, распластавшись в пыли, чужая собака. Мир за окном казался вымершим, застывшим в той же августовской истоме, а он стоял в центре этого застывшего мира, зажав в руке единственный предмет, который обладал подлинной, неоспоримой связью с прошлым. Связью, такой же прочной и древней, как сама земля, из которой был слеплен его дом.

Старик спустился вниз, в свою небольшую, аскетичную горницу. Комната была бедна убранством: железная кровать, застеленная стареньким покрывалом, простой деревянный стол, пара стульев, шкаф с немудрёным скарбом. На столе стоял неуклюжий, самодельный подсвечник и лежала потрёпанная Библия. Он положил трубку на стол, и она, тёмная и молчаливая, сразу стала центром этого скудного пространства, его главной и единственной драгоценностью.

Николай не зажигал свет. Сумерки медленно наплзали на комнату, размывая контуры предметов, окрашивая всё в сизо-лиловые тона. Он сидел в своём кресле у окна, держа трубку в руках, и не двигался. Не пытался представить, кому она принадлежала, какую жизнь прожил её владелец. Нет, он просто чувствовал её. Вес, возраст, молчаливую историю. Трубка была якорем, брошенным в бурное море времени, и он, старый, одинокий человек, цеплялся за этот якорь, чувствуя, как тот удерживает от полного растворения в безразличном потоке дней.

Сквозь приоткрытое окно доносился редкий, далёкий лай собаки, да стрекотание кузнечиков в придорожных зарослях. Где-то за леском проехал трактор, и его рокот медленно растаял в вечернем воздухе. А Николай всё сидел, и палец его бессознательно водил по тому самому сколу на чашечке, словно пытаясь прочесть, как слепой читает брайлевский шрифт. В этой тишине, в этом одиночестве, под аккомпанемент угасающего дня, рождалось странное, щемящее чувство – не то тоски, не то ожидания. Он был последним. Последним Гептингом в этом доме, в этом роду. И эта трубка была последней нитью, связывающей его с чем-то большим, чем он сам, с какой-то исчезнувшей общностью, имя которой – семья, род, история.

Старик не знал, что держит в руках не просто артефакт. Он держал в руках ключ. Ключ от двери, которая вот-вот должна была распахнуться, увлекая в невероятное путешествие, в самый эпицентр самого себя, в точку, где сходятся начала и концы. Но пока он был лишь старым человеком в тихом доме, и последний солнечный луч, пробившись сквозь стекло, на мгновение золотой искрой вспыхнул на серебряном мундштуке, обещая что-то, сулящее перемены.

Глава 2: Немецкие корни

Вечер спустился на Розовку тихим и тяжёлым, как мокрая бархатная портьера. Последние отсветы заката, тлеющие на западе, окрашивали облака в багрово-сизые тона, предвещая, возможно, ночную грозу. В доме Николая царил полумрак, нарушаемый лишь одиноким светом ночника-свечки, чьё искусственное пламя отбрасывало на стены беспокойные, пляшущие тени. Воздух в горнице был горячим и неподвижным, пахло пылью и сухим деревом – аромат одиночества и старости.

Старик сидел за столом, перед ним стояла грязная тарелка с остатками скромного ужина – хлебные крошки да поблёскивающая жиром полоска лука. Его руки, лежавшие на столешнице ладонями вниз, казались высеченными из старого, потрескавшегося камня. Взгляд, рассеянный и обращённый внутрь себя, упал на трубку, всё ещё лежавшую на том же месте, где он оставил её днем. В тусклом свете лампы морёный дуб казался ещё темнее, почти чёрным, поглощающим свет, а серебряный мундштук мерцал сдержанно, как далёкая звезда в предгрозовой мгле.

И вот тогда, в этой давящей тишине, случилось необъяснимое. Трубка перестала быть просто предметом. Она стала ключом, повернувшим какой-то скрытый замок в памяти. Стены горницы поплыли, расплылись, утратили свою твёрдость, и сознание, будто на утлом челне, понеслось вспять, сквозь толщу десятилетий, в ту самую точку, откуда начиналось его подлинное, невысказанное «я».

Николая вдруг охватило ощущение, столь острое и физически ощутимое, что даже на миг перехватило дыхание. Он почувствовал под ладонями не шершавую поверхность стола, а гладкую, прохладную фактуру высокобленного до белизны соснового пола. Воздух вокруг наполнился новыми, давно забытыми запахами: густым, наваристым ароматом борща с пампушкой, душистым дымком берёзовых поленьев, пылающих в беленой печи-грубке, и едва уловимым, горьковатым шлейфом дёгтя и пота, что всегда витал вокруг отца.

Он был маленьким. Очень маленьким. Сидел, поджав под себя босые ноги, на огромной, уютно гудящей лежанке печи, прислонившись спиной к тёплой, шершавой глине. Кухня, просторная и низкопотолочная, была сердцем дома, его тёплой, бьющейся утробой. В сгущающихся сумерках она тонула в бархатных тенях, и лишь огонь в печной топке отбрасывал живой, оранжевый свет на стены, где плясали гигантские тени от висящих пучков трав и медной посуды.

А в центре этого царства, у стола, двигалась его мать. Высокая, статная, с тугими, заплетёнными в корону светлыми волосами, она была воплощением неспешной, вечной силы. Её руки, сильные и ловкие, месили тесто, и этот ритмичный, чуть прихлопывающий звук был самой древней музыкой на свете. Она что-то напевала себе под нос, и это была не песня, а тихая, монотонная мелодия, похожая на журчание ручья.

И тут скрипнула дверь, и на кухню вошёл отец. Он казался великаном, заслоняющим собою весь дверной проём. От него пахло свежестью ветра, степной пылью, овечьей шерстью и железом. Его лицо, обветренное и просеченное сеткой морщин, устало улыбалось. Он снял тяжёлые, пропотевшие кожаные рабочие рукавицы, бросил их на лавку и, протянув к сыну свои огромные, шершавые, в ссадинах и мозолях ладони, произнёс хрипловато и ласково:

«Ну, что тут у нас, мой Kleiner?»

Слово «Kleiner» – «маленький» – вырвалось легко и естественно, как дыхание. Оно не было чужим. Слово было частью этого тёплого, насыщенного запахами и безопасностью мира. Это был их тайный, домашний язык, тёплый и уютный, как старая, растоптанная тапочка. Язык, на котором говорили не с чужаками, а друг с другом, в стенах этого дома.

И вот полилась речь. Странная, причудливая, волшебная. Не чисто немецкая и не чисто русская, а сплав, алхимический сплав двух миров, рождённый в котле истории, в переселениях, в борьбе за выживание на чужой земле.

Мать, помешивая ложкой в чугушке, могла сказать: «Pass auf, Колька, не юлись, а то шнель упадешь!» («Смотри, Колька, не юлись, а то быстро упадешь!»). И он понимал, что «шнель» – это не просто «быстро», а стремительно, в мгновение ока, и это слово звучало куда серьезнее и весомее.

Отец, умываясь над тазом, бормотал, глядя в окно на багровеющий закат: «Sonnenuntergang. Ось-ось ніч буде.» («Закат. Вот-вот ночь будет»). И «Sonnenuntergang» было не просто словом, а целым явлением – торжественным, немного грустным уходом солнца, обещанием покоя и звёзд.

Его, маленького, укладывая спать, могли назвать «Mein Kind» или «Unser Junge» – «мое дитя», «наш мальчик», и в этих словах звучала бездна нежности, защищённости, принадлежности к чему-то прочному и нерушимому – к семье, к роду.

Этот язык был полон ласковых прозвищ, обрывков старых солдатских или крестьянских песен, которые отец напевал, чиня упряжь, странных, ни на что не похожих ругательств, которые он изрекал, когда что-то не ладилось. Это был язык кухни, труда, простых радостей и тихих печалей. Он не изучался, не впитывался через учебники. Он впитывался с молоком матери, с хлебом, который она пекла, с запахом отцовской рубахи.

Для маленького Коли это не была «немецкая речь». Это был язык дома. Тёплый, пёстрый, живой. Он был таким же естественным, как вкус свежего молока или тепло печки. Он не делил слова на «свои» и «чужие». Они все были своими.

Но сейчас, шестьдесят пять лет спустя, старый Николай, сидя в своей пустой горнице, видел эти воспоминания в ином, трагическом свете. Теперь он понимал, что эти обрывочные фразы, эти странные слова – не просто бытовая причуда. Это были осколки. Осколки их подлинной истории, истинной идентичности, разбитой вдребезги жерновами революций, войн и переселений. Это были последние, затухающие сигналы с тонущего корабля их прошлого.

Он видел себя, маленького, на той печи, и ему хотелось закричать тому мальчику: «Запомни! Запомни каждое слово! Спроси, откуда они, кто были твои деды, как звали ту деревню, откуда они пришли!» Но мальчик был счастлив и беззаботен. Он просто жил, купаясь в этом тёплом языковом коконе, не ведая, что он – последний, кто его помнит.

Воспоминания накатывали новой волной. Вот он, постарше, сидит с отцом в сарае, тот показывает, как заплетать кнут. Пальцы отца, грубые и неуклюжие на вид, творили чудеса ловкости. И он говорил, смешивая языки: «Ось так, синку, fest затягуй, щоб міцно було.» («Вот так, сынок, крепко затягивай, чтобы прочно было»). «Fest» – крепко, намертво. И в этом слове была вся отцовская философия: всё надо делать «fest», прочно, на совесть.

А вот мать, накрывая на стол, напевала что-то, и в напеве проскальзывала строчка: «Ach, du lieber Augustin...» Потом она обрывала и переходила на русскую лирическую песню «Пойду, побреду по колёно в лебеду». Два мира, две души, сплетённые в одной груди.

Теперь он понимал. Этот странный язык-гибрид был мостом. Мостом между двумя родинами, ни на одной из которых они так и не стали окончательно своими. Родители были немцами для русских и украинских соседей, и «русскими немцами» для далёкой Германии. А по сути – людьми без родины, чей единственный настоящий дом заключался в стенах их собственной кухни, в звуках частного, тайного языка.

И этот язык умер вместе с родителями. Он, Николай, стал его гробом. Помнил слова, обороты, интонации, но контекст, та живая плоть, что порождала их, исчезла. Остался один скелет, одна тень.

Он сглотнул комок, вставший в горле. Пальцы сжали край стола. Тишина вокруг стала иной – теперь она была не просто отсутствием звуков, а зияющей пустотой, эхом от выстрела,

прозвучавшего полвека назад. Пустотой после того, как умолк последний носитель того тёплого, пёстрого наречия.

Трубка лежала на столе, безмолвная и многозначительная. Она была не просто связью с какими-то абстрактными «предками». А прямым проводником в тот самый мир, в ту самую кухню и тот самый язык. Она была материальным доказательством того, что всё это – не сон, не старческий бред. Что та жизнь была. Была во всей своей полноте, со своими запахами, вкусами и звуками.

И в этот момент тоска, которую он всегда носил в себе тихо и смиренно, преобразилась. Она стала не пассивной грустью, а активной, жгучей потребностью. Ему мало было хранить реликвию. Захотелось найти корни этого дерева, от которого ему досталась лишь одна ветвь в виде трубки. Николай почувствовал себя археологом, нашедшим первую клинописную табличку, и теперь всё его существо жаждало откопать целый город.

Он поднял взгляд. Сумерки окончательно победили день. За окном была уже не лиловая мгла, а густая, чернильная темень. Но внутри него самого будто вспыхнул огонёк. Тот самый, что когда-то плясал в топке печи на его старой, уютной кухне.

Николай больше не был просто старым, одиноким человеком. Он стал искателем. Хранителем угасшего огня. И его путешествие, ещё не начавшись физически, уже началось здесь, в тишине, в столкновении с призраками собственного детства, ставшими от этого внезапно такими реальными и требовательными. Эмоциональный якорь, брошенный глубоко в прошлое, содрогнулся и потащил его за собой.

Глава 3: Дорога в Мариуполь

Рассвет застал Николая уже на ногах. Он не столько спал, сколько проваливался в короткие, обрывистые видения, где пляшущие тени от ночника-свечки смешивались с оранжевыми отсветами уличного фонаря, а тихий скрип половиц отзывался в ушах эхом давно умолкших немецких слов. Трубка, лежавшая на столе, казалось, излучала в предрассветной мгле собственное, слабое свечение – не буквально, а метафизически, притягивая взгляд, как магнит железные опилки.

Собрался быстро, с выверенной скупостью движений, привычной человеку, долго живущему в одиночестве. Положил в старенький, потёртый рюкзак бутылку с водой, краюху чёрного хлеба, завернутую в полотняную тряпицу, и паспорт. Рука сама потянулась к трубке – взять её с собой, как талисман, доказательство самому себе, что это не сон. Но передумал. Нет. Её место здесь, в доме. Она – и причина пути, и его конечная цель. Трубка должна ждать.

На перроне розовского вокзала, небольшого, но всё ещё опрятного здания из песчаного ракушечника с высокими окнами и островерхой черепичной крышей, царила привычная, заспанная тишина. Воздух, с ароматом полыни и сладковатым дымком от прошедшего недавно скорого поезда, был неподвижен. Сам вокзал, выкрашенный когда-то в весёлый зелёно-бежевый цвет, теперь пооблупился, и сквозь трещины в штукатурке проступала сырая соль ветров. Но в его облике не было запустения – лишь спокойная, стоическая усталость, как у старого сторожа, который уже не ждёт суеты, но всё ещё несёт свою службу. Редкие пассажиры – две женщины с авоськами, да мужичок в засаленной фуражке – лениво переговаривались у входа, поглядывая на стрелку больших станционных часов, что лениво ползла к времени, когда должен был подойти их пассажирский.

Николай сел у окна, положив рюкзак на соседнее сиденье. Поезд тронулся, и за стеклом поплыла, словно разматываемый рулон пожелтевшей киноплёнки, знакомая с детства картина – бескрайняя, почти библейская степь. Она была разной. Рядом с путями мелькали, отдавая дань августу, поля подсолнухов. Их тяжёлые, почти чёрные от семян шляпки были обращены на восток, к восходящему солнцу, и казалось, что это не растения, а сонм безмолвных, преданных существ, застывших в немом поклоне своему божеству. Но вот подсолнухи кончились, и началась настоящая степь – выжженная, бескрайняя, колышущаяся под ветром седыми ковылями и чахлыми полынками.

Пейзаж за окном был монотонным, но для Николая он наполнялся глубинным, тревожным смыслом. Эта степь видела всё. Помнила телеги его предков, скрипящие по её древним трактам, запряжённые неторопливыми волами; пыль, поднятую копытами казачьих лошадей; дым от первых мазанок, слепленных колонистами Грюнау из глины, навоза и собственных надежд. Она была немим свидетелем надежд, отчаяния, тяжкого труда и тихих смертей. Как гигантская, безразличная книга, на страницах которой были записаны все их жизни, а теперь он пытался прочесть хотя бы одну-единственную строчку.

Поезд мерно покачивался, стуча колёсами по стыкам рельсов. Этот стук отбивал ритм мыслям, невесёлым и обречённым. Николай смотрел на своё отражение в стекле – бледное, прозрачное, накладывающееся на пролетающие мимо телеграфные столбы. Старое лицо. Изрезанное морщинами, как высохшее русло реки. Глубоко сидящие глаза, в которых притушился огонь. Он думал о том, что жизнь, как и этот поезд, неумолимо катится к конечной станции. Где Николай был последним вагоном в длинном составе своего рода. И этот состав вот-вот должен был кануть в пустоту, раствориться в том же безразличном небытии, что и эти бескрайние степи.

– И всё? – спрашивал он себя, глядя в глаза отражению. – Неужели всё и закончится на мне? Просто пыль на чердаке, да чужие лица на выцветших фотографиях, за которыми – ни имени, ни истории? Один. Совсем один.

Мысль о том, что он – тупик, финальная точка в длинной фразе, написанной кровью и потом предков, была невыносима. Трубка была молчаливым укором. Она ключ, но ко двери, затерянной во тьме. Одного этого ключа было мало. Нужно найти и саму дверь. Нужен контекст, почва, точка на карте. Чтобы превратить безмолвный артефакт в часть истории, в звено, которое соединит его с тем, кто держал эту трубку первым. Николай искал не первое доказательство – недостающие части пазла, которые превратят его из хранителя одинокой реликвии в человека, понимающего её язык.

Вспомнил вчерашние видения, нахлынувшие с такой силой. Тот тёплый, пёстрый язык, уютный мир кухни. Старик понимал, что его поездка – это не просто краеведческий интерес. А попытка воскрешения. Хотелось дать голос тем безмолвным теням, что жили в памяти. Найти для них не просто место на карте, а место в истории, контекст, почву под ногами.

Поезд сделал остановку у какого-то небольшого села. На перроне стояла светловолосая женщина с двумя курицами в клетке. Николай смотрел на неё, и ему казалось, что он видит не современницу, а одну из тех колонисток, в суровых, длинных платьях, с усталым, загорелым лицом. Время в этих местах текло иначе, замедленно, и прошлое всегда было опасно близко, проступая сквозь тонкую кожу настоящего.

Он ехал в Мариуполь. Сердце сжималось от щемящего, противоречивого чувства. Этот город на море был для его предков уездной столицей, средоточием власти и бюрократии, местом, где решались их судьбы. Здесь, в губернских архивах, подавались прошения на землю, регистрировались рождения, браки и смерти. Здесь хранилась официальная, сухая, но единственная правда об их жизни. И была в этой поездке иная, невысказанная тяжесть. Он ехал в город, который уже стал для него памятником. Ехал к морю, которого уже много лет не видел, по земле, которая для его предков была обетованной.

Когда поезд, с глухим стоном затормозив, встал на закопченном вокзале, Николая охватила странная робость. Он, житель тихой, умирающей Розовки, чувствовал себя крошечной букашкой, забредшей в муравейник. Гул голосов, грохот багажных тележек, визг тормозов – всё это обрушилось на него, оглушая и дезориентируя. Воздух был влажным и соленым, с непривычным привкусом моря.

Он вышел на привокзальную площадь, залитую палящим солнцем. Потоки машин, спешащие куда-то люди – всё кричало о другой, чужой ему жизни, в которой не было места пыльным чердакам и старым трубкам. На мгновение им овладело отчаяние. Что он здесь делает? Что может найти одинокий старик в этом каменном хаосе?

Но потом вспомнилось лицо отца, руки, его тихая, усталая улыбка. Вспомнил материн напев. И сжал в кармане кулак. Нет, он не повернет назад.

Краеведческий музей размещался в большом старом, дореволюционном здании с толстыми стенами и высокими потолками. Войдя внутрь, он попал в другой мир. Мир прохлады, полумрака и тишины, нарушаемой лишь размеренным тиканьем больших напольных часов. Воздух был насыщен особым запахом – смесью воска для паркета, старой бумаги и неторопливого времени.

За столом у входа сидела женщина. Ему показалось, что она является органичной частью этого музея, как один из экспонатов. Лет шестидесяти, с седыми, аккуратно уложенными волосами, в строгих очках в тонкой оправе. Она что-то писала в толстой книге, и её движения были такими же плавными и величавыми, как движение маятника тех самых часов. На табличке, стоявшей перед ней на столе, было выгравировано: «Лидия Петровна. Научный сотрудник».

Николай подошёл, чувствуя себя школьником, явившимся без справки. Прокашлялся, чтобы привлечь внимание.

– Здравствуйте, – произнес старик, и его голос прозвучал неожиданно громко и сипло в этой тишине.

Женщина подняла взгляд на незнакомца. Глаза были светлыми, внимательными и, как показалось Николаю, необычайно усталыми. Но усталость эта была не от жизни, а от долгого всматривания в прошлое.

– Здравствуйте, – ответила она спокойно. – Чем могу помочь?

Николай вдруг растерялся. Как изложить всю свою жизнь, всю свою тоску в одном вопросе?

– Мне бы... мне бы узнать кое-что, – начал он запинаясь. – О немецких колонистах. О колонии Грюнау, что была в Мариупольском уезде.

Лидия Петровна внимательно посмотрела на него. Её взгляд скользнул по лицу незнакомца, по его поношенной, но чистой одежде, задержался на глазах. Она, должно быть, видела много таких, как он – людей, в одночасье вспомнивших, что у них есть корни, и отчаянно пытающихся их отыскать. Одних гнала мода, других – смутная тоска. Но в этом старике, как ей показалось, была иная, глубокая, личная боль.

– Грюнау, – протянула она задумчиво. – Да, были такие колонии. Меннониты, лютеране... При Екатерине Второй селились. – Она помолчала, изучая его. – А вам зачем, если не секрет? Генеалогией занимаетесь?

Николай покачал головой.

– Нет. Я... я просто хочу понять. Мои предки оттуда. Я, наверное, последний. Хочу найти... хоть что-то. Могилы, может быть. Какие-то упоминания.

Старик говорил тихо, но в его словах была такая неподдельная, обнажённая искренность, что равнодушная маска научного сотрудника на лице Лидии Петровны дрогнула. Она увидела не просто любопытствующего, а человека, совершающего паломничество. Пусть не к святым местам, а к местам памяти, но паломничество от этого не становилось менее важным.

Она медленно поднялась.

– Пойдемте, – сказала она просто. – У нас в фондах кое-что есть. Карты, ревизские сказки... Не обещаю, что найдём именно ваших, но попробовать можно.

И в этих простых словах для Николая прозвучал не просто ответ сотрудника музея. Для него они прозвучали как приговор. Приговор, отменяющий одиночество. Как тихий голос из прошлого, говорящий: «Мы здесь. Мы ждали тебя». Он кивнул, и комок в горле разжался, уступая место новому, незнакомому чувству – хрупкой, дрожащей надежде. Его путешествие только начиналось, но первый, самый трудный шаг – через порог безразличия – был сделан.

Глава 4: Карта из прошлого

Лидия Петровна двинулась вглубь музея, и Николай, словно привязанный невидимой нитью, последовал за ней. Он шел, ощущая каждый стук собственного сердца – глухой, усталый, будто отсчитывающий последние кварталы. Они миновали несколько залов, где под стеклом витрин спали вечным сном осколки трипольских сосудов, поблёскивали тяжёлой медью казацкие трубки и пожелтевшие от времени вышиванки расправляли свои иссохшие крылья-рукава. Воздух здесь был ещё гуще, ещё насыщеннее запахами прошлого, и каждый шаг по скрипучему паркету отдавался эхом в бездонных колодцах времени.

Она привела его к небольшому помещению, дверь в которое была неприметной и запёртой на старый, почерневший от времени замок. Ключ, который сотрудница музея извлекла из кармана своего строгого платья, звякнул, и дверь с неохотным скрипом отворилась, выпустив навстречу гостям затхлое, сладковато-горькое дыхание хранимых веков.

Это была подсобка, или, как её, наверное, стоило назвать, святая святых музея – архив. Помещение было заставлено высокими, до самого потолка, стеллажами из тёмного дерева. Они стояли тесными рядами, образуя узкие, похожие на ущелья, проходы. На полках, под тяжестью знаний, прогибались бесчисленные папки, переплетённые дела, толстые фолианты в кожаных корешках, многие из которых были стёрты до неузнаваемости. Воздух был наполнен ароматом, который Николай сразу же узнал и полюбил, – это был запах старой, качественной бумаги, смешанный с пылью, сургучом и лёгким, благородным оттенком кожанного переплета. Свет сюда проникал скупно, из одного запыленного окна под потолком, и потому в глубине между стеллажами царил полумрак, где тени, казалось, обретали плотность и форму.

– Здесь, – сказала Лидия Петровна, и её голос, приглушённый этой бумажной гробницей, звучал особенно значимо, – хранится то, что не попало на выставку. Не потому, что не ценно. А потому, что слишком хрупко, слишком лично. Здесь живут детали.

Она двигалась между стеллажами с уверенностью проводника в знакомом лесу. Её пальцы, длинные и тонкие, скользили по корешкам, будто читая их на ощупь, как слепой читает брайль. Николай следовал за ней, затаив дыхание, боясь своим присутствием нарушить хрупкое равновесие этого мира. Ему казалось, что громкий вздох может обратиться в порыв ветра и развеять в прах эти хрупкие свитки.

– Мариупольский уезд, немецкие колонии... – бормотала женщина про себя, пробегая глазами по полкам. – Грюнау, Грюнау... Люди не часто спрашивают про колонии, – заметила она, обращаясь больше к полкам, чем к нему. – В основном – про казаков. Кажется, в той синей папке, в углу... Да, вот.

Она встала на небольшую складную лесенку, и Николай, задержав дыхание, смотрел, как Лидия Петровна снимает с верхней полки толстую папку, покрытую небольшим слоем пыли. Женщина спустилась, положила папку на небольшой столик, стоявший в проходе, и аккуратно развязала верёвочки.

Внутри лежали бесценные сокровища. Ревизские сказки – перечни душ, где люди были сведены к строчкам: имя, возраст, сословие. Старые фотографии, на которых суровые, бородастые мужчины в простой одежде и женщины в тёмных платьях с чепцами смотрели в объектив с невозмутимым спокойствием, за которым угадывалась тяжесть целой жизни. Какие-то справки, прошения, письма, написанные готическим курсивом, столь изящным и непонятным.

Лидия Петровна листала страницы с профессиональной нежностью. Николай смотрел, и имена, мелькавшие перед ним – Иоганн, Марта, Фридрих, – казались оживающими тенями. Он вглядывался в лица на фотографиях, пытаясь найти в них черты отца, деда. Но лица были чужими, застывшими в иной эпохе.

– Вот, – Лидия Петровна извлекла из папки большой, сложенный в несколько раз лист. Бумага была жёлтой, хрупкой, на сгибах проступали рыжие пятна времени. – Это как раз то, что вам нужно. Карта поселения и прилегающей территории. Конец XIX века.

Женщина бережно развернула её на столе. Раздался тихий, шелестящий звук, полный древнего значения. Николай замер, склонившись над картой. Сперва он увидел лишь паутину тонких линий и вензеля незнакомых названий. Сердце упало – не то, не то... Это была не просто схема. Это была поэма, написанная чернилами и временем. Тонкими, изящными линиями были выведены изгибы рек, прочерчены дороги, отмечены холмы и балки. Вся земля была разбита на аккуратные квадраты наделов, и у каждого было своё имя. Названия были выведены изысканным готическим шрифтом, который превращал каждое слово в произведение искусства.

Сердце забилося чаще. Он водил пальцем над картой, не решаясь прикоснуться, боясь разрушить этот хрупкий мир. Его взгляд метался, выискивая знакомый с детства слог, то самое слово, что он слышал от отца вполголоса, слово-призрак, слово-воспоминание.

И тут палец сотрудницы музея – тонкий, с аккуратным маникюром – коснулся одного из квадратиков на окраине карты, в стороне от села.

– Вот, – сказала она тихо, почти шёпотом. – Смотрите.

Николай наклонился ниже. Квадратик был небольшим, и подпись к нему была выведена тем же готическим шрифтом, но более мелко, словно картограф счёл это место незначительным. Он прочёл, шевеля губами, слога, которые отозвались глухим, давно забытым эхом:

«Alter Friedhof der Kolonie Grunau».

Старое кладбище колонии Грюнау.

Мир вокруг перестал существовать. Пропал и скрип стеллажей, и запах старой бумаги, и даже сама Лидия Петровна. Весь он, всё его существо, сузилось до этой точки на карте, до этих нескольких слов, написанных выцветшими чернилами. В ушах зазвучал шум прибоя, обрушившийся ему на голову. Николай слышал в этом шуме отзвуки тех самых немецких слов с кухни, скрип телег, голоса предков.

«Alter Friedhof...» – прошептал он.

Это было оно. Материальное доказательство. Не сон, не фантазия. Не просто трубка в шкатулке, а место. Конкретное, нанесённое на карту место на земле, где покоились те, чья кровь текла и в его жилах. Точка в географии, которая становилась точкой отсчета в его собственной истории. Вот он, ваш дом, – с горькой иронией подумал старик, глядя на крошечный квадратик. Не дом, а яма в земле. Но и это было бесконечно больше, чем он имел сейчас.

Николай стоял, не в силах пошевелиться, уставившись на эти слова. Внутри бушевала буря из противоречивых чувств. Не торжество, а прежде всего – глубочайшее, почти физическое облегчение. Значит, не зря. Значит, я не сумасшедший. Затем – горькая ирония. Вот и всё, что осталось: клочок бумаги. От целой жизни. И лишь потом, как отдалённый гул, подступили благоговейный ужас и неизъяснимая печаль. И огромная, всепоглощающая благодарность – к Лидии Петровне, к судьбе, приведшей его сюда, к самой этой карте, сохранившей для него эту тайну.

Он чувствовал, как что-то затвердевает внутри, кристаллизуется. Тоска, одиночество, экзистенциальный страх – всё это обретало форму, имя и адрес. Теперь путешествие не было дорогой в никуда.

– Можно... – голос сорвался, и он сглотнул, пытаясь справиться с накатившим комом в горле. – Можно сделать копию?

Лидия Петровна смотрела на него с тем странным выражением, в котором смешивались профессиональное понимание и человеческое сочувствие. Она видела, что произошло. Стала свидетельницей не архивной находки, а акта воскрешения.

– Конечно, – ответила женщина мягко. – У нас есть ксерокс. Пойдёмте.

Он молча следовал за сотрудницей музея, не в силах оторвать глаз от карты, которую она несла с собой, как святыню. Процесс копирования показался Николаю каким-то священнодействием. Яркий свет, пробегающий по поверхности бумаги, гудел, как некий магический аппарат. Лидия Петровна бережно придерживала хрупкий угол карты, словно боясь, что и она превратится в прах под лучами современной машины. Когда ксерокс выдал тёплый, ещё пахнущий краской лист, Николай взял его дрожащими руками.

Он смотрел на чёткую черно-белую копию. Теперь это была не просто старая карта. Это был план, карта сокровищ. Только сокровище было не из золота, а из памяти, из праха, из обрётённых корней.

Возвращаясь через залы музея к выходу, Николай чувствовал себя иным человеком. Шёл не сторбившись, а выпрямив спину. В глазах, обычно потухших, горел новый огонь – огонь цели. Лидия Петровна проводила его до дверей.

– Удачи вам, – сказала женщина на прощание. И в её словах был не просто формальный вежливый жест. Это было напутствие.

– Спасибо вам, – ответил Николай, и в его голосе прозвучала вся глубина неподдельной благодарности. – Большое, человеческое спасибо.

Он вышел на залитую солнцем улицу. Городской гул, крики машин и суета не пугали его. Он прижал к груди свёрнутую в трубку копию карты. Она была легка по весу, но тяжела по значению. Теперь у него был компас. И стрелка неумолимо указывала на северную окраину Розовки, на заброшенный пустырь, который отныне перестал быть просто пустырем. Он стал целью. Ключом от двери в его собственное, украденное у времени, прошлое

Глава 5: Возвращение в Розовку

Обратная дорога в Розовку была долгой и унылой. Дизель-поезд, всё тот же облезлый и усталый, тащился обратно. Сидевший у окна Николай чувствовал, как на каждом стыке рельсов ноет затёкшая спина. Свёрнутая в тугой рулон копия карты лежала на коленях, отдавая в пальцы смутным, тревожным теплом. За скучным однообразием степи за окном начинали проступать контуры другого пейзажа – того, что был на карте. Не то чтобы старик его видел. Скорее, знание о нём поселилось внутри. Взгляд сам искал глазами ту самую балку, отмеченную на плане. «Вот и всё, старик, дошло до тебя, – беззвучно бросил сам себе Николай. – Возись со своими бумажками».

Взгляд скользил по лицам редких попутчиков. Вот у мужика в дальнем углу – тот же крупный подбородок, что и на старой фотографии из музейной папки. Просто показалось, наверное. Глаза отвлёл. Усталость брала своё.

Когда наконец ступни коснулись перрона, в ногах стояла тяжёлая, знакомая усталость. Возвращался в свою конуру. Но на этот раз в кармане лежала не просто бесполезная бумажка, а план. Чёткий, как схема атаки. И это придавало шагу твёрдости, которой не было ещё утром.

Старый дом встретил его всё той же гнетущей тишиной, но теперь в этой тишине был иной отзвук – не пустоты, а терпеливого ожидания.

Разбираться не стал, свет не зажёл. Привычными, выверенными движениями, не глядя, поставил на плиту чайник. Потом, уже в сумерках, на столе были расстелены два листа. Один – современная, яркая, бездушная карта района, купленная когда-то в сельсовете. На ней Розовка была изображена схематично, уродливыми квадратиками, а окружающие поля – безликими зелёными пятнами. Другой – хрупкая, благородная копия карты-призрака, с её изящными вензелями рек и ажурными надписями.

Из комода была извлечена большая лупа с деревянной ручкой, та самая, которой когда-то пользовался отец. Линза была тяжёлой, мутноватой, в царапинах. Под её увесистым стеклом мир преображался. Работа предстояла знакомая, почти слесарная: сопоставить, проверить, найти совпадение. Не философский камень, а простая сцепка.

Сначала на современной карте была найдена Розовка. Затем, медленное движение лупы над старой картой отыскало «Kolonie Grunau». Колония была чуть в стороне от того места, где сейчас раскинулась Розовка, словно нынешнее село было неверным, сползшим в сторону отпечатком. Сердце забилося чаще. Поиск ориентиров начался.

И они начали проступать, эти нити, связывающие два мира. Речка, что сейчас была всего лишь заросшим камышом оврагом на окраине, на старой карте была извилистой, полноводной лентой с именем «Bach Grunau» – ручей Грюнау. Старая грунтовая дорога, ныне почти забытая, протоптанная лишь тракторами, на карте XIX века была живой артерией, связывающей колонию с соседними сёлами. Лупа водилась туда-сюда, сверяя, сопоставляя. Палец скользил по современной карте, а взгляд, прикованный к увеличительному стеклу, искал соответствия на старой.

Это было расследование, растянутое на столетие. В голове, против воли, включился тот самый азарт, что бывал на войне при разведке местности. «Ну, где же вы, предки, спрятались?» – мысленно бросил он в пространство. Временами казалось – вот оно, сейчас. Потом – провал, пустота. «Дурак, – вслух пробормотал Николай, отпивая остывший чай. – Маешься, как кот с дичью». Но сдаваться было не в правилах. Приходилось вставать, делать новый стакан чая, и снова возвращаться к картам.

Лампа на столе отбрасывала круг света, за пределами которого тонула ночь. В этом круге происходило волшебство вызывания духов места. Шорох переворачиваемой бумаги, скрип

стула, тихое сопение – вот и все звуки, нарушавшие безмолвие. Весь мир сузился до размера столешницы, до двух вселенных, разделенных столетием, которые предстояло совместить.

И вот, наконец, это случилось. Палец, водивший по современной карте, и лупа, под которой лежала старая, замерли одновременно. Взгляд нашёл не просто похожий изгиб, а точку. Место, где старая дорога из Грюнау делала резкий поворот, огибая небольшой холм, отмеченный на обеих картах. Холм этот был и сейчас, поросший бурьяном, на самой северной окраине посёлка, за последними домами. И согласно старой карте, прямо у подножия этого холма, между поворотом дороги и руслом ручья, и находился тот самый квадратик с роковой надписью: «Alter Friedhof».

Откинувшись на спинку стула, Николай ощутил, как из груди вырвался короткий, хриплый звук – не то вздох, не то стон. Руки сами разжались, и лупа с глухим стуком упала на стол. Всё. Дошёл. Выслеживание прошлого увенчалось успехом. Последовали замеры линейкой, пересчёт масштаба. Сомнений не оставалось. Место старого немецкого кладбища колонистов сейчас – это заброшенный пустырь, поросший колючим бурьяном и используемый как несанкционированная свалка.

В сознании чётко возникло это место, знакомое с детства. Все дети Розовки знали этот пустырь. Они бегали там, несмотря на запреты родителей, находили в траве странные, гладкие камни, которые, как теперь понимал Николай, могли быть фрагментами тех самых надгробий. Их детские шепоты о том, что там «немцы лежат», эта интуитивная правда теперь обретала жуткую, неопровержимую реальность.

Подойдя к окну, он увидел глухую, чёрную ночь, усыпанную холодными, безразличными звездами. Где-то там, в этой темноте, на северной окраине, лежали они. Те, чья кровь была и его кровью. Те, чьи труды и молитвы, надежды и разочарования в конечном счете привели к его рождению. Их последнее пристанище было под слоем земли, мусора и забвения.

Ирония судьбы была, как плетью. Величие их переселения, борьба за выживание на чужой земле, их целые жизни, полные любви и горя, – всё это было сведено к позорному клочку земли, заваленному битым кирпичом, ржавыми консервными банками и пластиковыми бутылками. Контраст между тем, что было, и тем, что стало, был настолько чудовищным, что дыхание перехватило.

Но вместе с горечью пришло и то самое предвкушение. Азарт исследователя, нашедшего свою Эльдорадо. «Вот тебе и Эльдорадо, Николаша. Не золото, а кости. Твои кости, если разобраться». Его Эльдорадо было из костей и памяти. Завтра. Завтра предстояло пойти туда. Не как случайный прохожий, не как мальчишка, пугающийся теней, а как наследник, пришедший с визитом к своим праотцам. Взгляд упал на трубку, всё ещё лежавшую на своём месте. Теперь между ней и тем пустырём протянулась незримая, но прочнейшая нить.

Сон не шёл. Перед закрытыми глазами стояли контуры двух карт, накладывающихся друг на друга. Ясно виделись извилистая линия ручья, твёрдая линия дороги и тот самый квадратик у подножия холма. Прежний Николай Гептинг, одинокий пенсионер, остался в прошлом. Теперь это был Николай Гептинг, сын, внук и правнук, звено в цепи. И завтра предстояло дотронуться до следующего звена, даже если оно было скрыто под слоем грязи и несправедливого забвения. Рука потянулась и коснулась пальцами холодного оконного стекла, словно пытаясь дотронуться сквозь тьму до той самой земли. До них.

Глава 6: Заброшенный пустырь

Утро, на которое Николай возлагал столько надежд, выдалось неласковым. Небо, ещё вчера ясное и бездонное, затянулось плотной пеленой сизых, низких облаков, отчего свет становился рассеянным, тусклым, лишаящим мир красок и теней. Воздух, тяжёлый и неподвижный, предвещал грозу, и от этого на душе становилось ещё тревожнее. Собрался в дорогу Николай с торжественной, почти ритуальной тщательностью. Надел старые, прочные штаны, затёртую до дыр рабочую куртку, взял в руки крепкий, суковатый посох из яблоневого дерева, что много лет служил опорой на прогулках. Палка эта была похожа на высохшую, окаменевшую руку, протянутую из прошлого.

Выйдя из дома, он тут же почувствовал на лице первый порыв ветра – резкий и влажный. Путь лежал на северную окраину, туда, где Розовка обрывалась, упираясь в стену дикого, никем не возделываемого пространства. Последние дома, чаще всего пустые, с заколоченными окнами, смотрели на прохожего слепыми глазницами. Дворы зарастали бурьяном, и казалось, сама природа медленно, но верно отвоёвывала у человека эту землю. Дорога, ещё недавно видная на карте, на деле оказалась едва угадываемой тропой, протоптанной в высокой траве редкими пешеходами или заблудившимися коровами.

И вот он стоял на краю. Перед ним расстился тот самый пустырь. Карта, лежавшая в памяти ярким, чётким чертежом, столкнулась с убогой, подавляющей реальностью. Это было огромное поле, раскинувшееся у подножия невысокого, пологого холма, который он опознал по старым картам. Но на карте это место было исполнено порядка и смысла – аккуратные квадраты могил, подъездная дорога. Теперь же это было царство хаоса и запустения.

Поле покрывало море бурьяна, поднявшегося местами выше человеческого роста. Сухой, колючий чертополох с лиловыми, ошетилившимися шариками соцветий, цепкий и неистребимый выюнок, жёсткие метелки пырея и ковыля, уже побуревшие от зноя, – вся эта растительная стихия сплелась в единый, непроходимый частокол, шевелящийся и шуршащий под порывами ветра. Земля под ногами была неровной, кочковатой, скрытой под этим зеленовато-серым покрывалом. А по краям, словно венок из современного ада, громоздились кучи мусора – грудой лежали ржавые бочки, обломки кирпича, полинявшие пластиковые пакеты, надувшиеся, как трупы, битое стекло, поблёскивающее тускло, как слепые глаза. Воздух гудел от мириад мух и слепней, слетевшихся на этот пир разложения.

Контраст между тем, что он представлял себе, глядя на старую карту, – тихое, ухоженное кладбище под сенью деревьев, – и этой уродливой, вонючей свалкой, был настолько оглушительным, что у Николая на мгновение потемнело в глазах. Он почувствовал не просто разочарование, а глубочайшее, физическое оскорбление. Его предки. Их последнее пристанище. Осквернённое, затоптанное, преданное забвению под слоем цивилизационного праха.

Но отступать было нельзя. Сжав свой посох так, что костяшки побелели, он сделал первый шаг с края тропы в эту зелёную пучину. Трава сомкнулась за его спиной, как воды морские, отрезая путь к отступлению. Колючки чертополоха цеплялись за одежду, словно пытаясь удержать чужака. Начался методичный, заранее продуманный обход местности, движение по воображаемым квадратам. Палка превратилась в щуп, зонд, погружаемый в тело прошлого. Ею раздвигались колючие заросли, простукивалась земля, а взгляд впивался в каждый камень, в каждую кочку.

Солнце, пробиваясь сквозь облака, начинало палить нещадно. Воздух становился вязким, густым, как кисель. Пот ручьями стекал по лицу, смешиваясь с пылью, солёный и едкий. Комары и мошки, поднятые из травы, облепляли лицо, шею, руки, впивались в кожу зудящими уколами. Отмахивался он тщетно – они были частью этого места, его стражниками и мстителями.

Движение было медленным, метр за метром. Ноги вязли в рыхлой земле, спотыкались о скрытые кочки. Временами яблоневый сук натёкался на что-то твёрдое, и сердце замирало. Приходилось наклоняться, разгребать траву руками, уже исцарапанными до крови, и находить то обломок ржавой арматуры, то проржавевшую консервную банку с ещё читаемой датой 70-х годов, то бесформенный кусок бетона. Каждая такая находка была ударом. Напоминанием о том, в каком времени он находится, и о том, какое время пытается откопать.

Час прошёл, затем другой. Напряжение и усталость накапливались. Начало казаться, что эта земля не хочет отдавать свою тайну. Что она поглотила его предков без остатка, переварила их кости, растворила память о них в этом буйстве сорняков и хлама. В голову полезли чёрные, предательские мысли. А был ли смысл? Может, они и правда стёрты навсегда? Может, эта трубка – всего лишь случайная вещь, а его поиски – блажь старого человека, не желающего смириться с неизбежным концом?

Остановился он, опёршись на палку, и вытер пот со лба грязным рукавом. Перед глазами плыли круги. Ноги гудели от усталости, спина ныла. Огляделся. Он был в центре этого зеленого моря. Со всех сторон окружали одни и те же колышущиеся заросли, те же кучи мусора на горизонте. Чувство полной, абсолютной потерянности охватило его. Он был не просто физически уставшим. Но и вдобавок морально истощён. Весь порыв, вся его надежда, вспыхнувшая в музее, казалось, выгорели дотла в этом бесплодном, унижительном труде.

Сдаться. Вот оно, простое, горькое решение, стучавшее в висках вместе с пульсом. Мысленно он уже прощался с этой безумной затеей, готовясь повернуть назад, к своему дому, к своей одинокой старости, чтобы доживать свой век, зная, что потерпел поражение. Сделал последнее усилие, протащил палкой по земле перед собой, уже не надеясь ни на что, и вдруг...

Палка со стуком ударилась обо что-то большое, массивное, прочное. Не о железо, не о бетон. Звук был глухой, каменный. И этот звук, такой непохожий на всё, что он слышал до сих пор, заставил сердце не просто забиться чаще, а совершить один-единственный, оглушительный удар, отозвавшийся во всем теле. Огонь внезапной надежды, крамольный и болезненный, как укол адреналина в старое сердце, заставил замереть, боясь пошевелиться, боясь, что это снова мираж, игра усталого сознания.

Но нет. Кончик палки упирался во что-то твёрдое, скрытое в земле и в спутанных корнях трав. Что-то, что не было железом, пластиком или бетоном. Что-то, хранящее в себе немое, каменное достоинство иного времени.

Глава 7: Камень предков

Сердце Николая, прорвав плотину усталости и сомнений, забилося с такой силой, что собственный стук в висках заглушил на мгновение и шум ветра, и назойливый гул насекомых. Весь мир сузился до кончика палки, упиравшейся в нечто, скрытое под спудом земли и времени. Замер он, боясь шелохнуться, боясь, что это мираж, порождённый истощением и жарой. Но нет – твёрдая, неподвижная реальность упрямо передавалась через яблоневую древесину в его ладонь.

На колени опустился, не чувствуя ни колючек, впивающихся в кожу, ни влажной земли, проступающей сквозь ткань штанов. Отбросив палку, запустил пальцы в спутанные корни травы и плотный, слежавшийся грунт. Ногти, давно не стриженные и покрытые чёрной каймой земли, цеплялись за камни, разрывали переплетения растений. Работал с лихорадочной, почти безумной энергией, сметающей всю предыдущую усталость. Это был уже не методичный поиск, а священное рытьё, рождение археолога, откапывающего собственную генеалогию.

Под слоем дёрна и мусора проступило нечто массивное. Не обломок кирпича и не ржавая железяка. Это был камень. Большой, тяжёлый, грубо отёсанный когда-то блок. Цвет его был скрыт под наслоениями – тёмно-зелёным бархатом мха, бурыми подтёками ржавчины от стекавшей с мусора воды, серой коркой засохшей глины. Наполовину, почти на две трети, погружённый в землю, он напоминал древнего левиафана, решившего заснуть на века.

Сгреб ладонями землю с поверхности камня. Пальцы наткнулись на резкую грань. Очистил больше пространства. Камень был расколот. Большая, зияющая трещина рассекала его пополам, будто ударом исполинского молота. Но даже в этом разрушении чувствовалась былая монолитность, прочность, рассчитанная на вечность.

И тогда увидел их. Буквы.

Они не бросались в глаза. Были выветрены, стёрты дождями, морозами и безразличием веков. Не были вырезаны – рождены из камня, являлись его плотью, и теперь время медленно возвращало их обратно в небытие. Наклонился ниже, почти лёг на землю, закрывая своим телом камень от набегающих порывов ветра, сдувавшего пыль. Водил пальцами по шершавой, холодной поверхности, читая её, как слепой.

Сначала это были просто углубления, борозды. Потом контуры начали складываться в знакомые, хоть и архаичные формы. Готический шрифт. Тот самый, что видел на карте в музее. Каждая буква была произведением искусства, каменной вязью, но теперь полустёртой, угасшей.

С трудом различал слова. Язык был немецким.

«HIER R...»

«Здесь поко...» – мысленно перевёл он, и сердце сжалось.

Дальше шло что-то неразборчивое, несколько букв, съеденных временем. Долго тёр камень ладонью, словно пытаясь разжечь в нём угасший огонь жизни. И вот, в середине строки, проступило, выплыло из каменной мглы слово, вернее, его часть. Но этой части было достаточно.

«...EPTING...»

Гептинг.

Воздух вырвался из лёгких одним коротким, обрывистым стоном. Мир перевернулся, съёжился, а потом вновь обрёл форму, но уже иную, преображённую. Больше не было ни воющего ветра, ни зудящих комаров, ни вони разложения. Была лишь эта треснувшая каменная глыба и эта надпись, эта фамилия, высеченная в камне и отозвавшаяся в нём, в его крови, в самой его сути.

«...EPTING...»

Не просто нашёл кладбище. Нашёл их. Конкретного человека. Свою кровь. Свою плоть. Своё имя, высеченное на плите столетие назад. Это был не абстрактный предок, не тень из семейных преданий. Это был Иоганн Гептинг? Фридрих Гептинг? Кто-то, чьи кости истлели здесь, в этой земле, а его, Николая, жизнь стала отдалённым, невысказанным эхом их существования.

Отшатнулся и сел на землю, на корточки, спиной к холму. Не плакал. Слез не было. Было нечто большее – глубокая, всепоглощающая тишина внутри, рождённая от соприкосновения с вечностью. Смотрел на камень, и казалось, что видит сквозь него, сквозь толщу земли, видит того, кто лежал под ним. Не скелет, а человека. С его надеждами, болью, любовью к этой самой земле, которую пришёл осваивать.

Протянул руку и снова прикоснулся к буквам. Шершавость камня была бесконечно далека и бесконечно близка одновременно. Это была история, которую можно было осязать. Это была связь, материальная, как эта глыба. Его предки перестали быть призраками. Они обрели голос. Немой, каменный, едва различимый, но голос. И этот голос говорил с ним через барьер смерти, через хаос столетий.

Ветер, усилившийся, завывал теперь по-иному. Это был уже не просто порыв воздуха, а голос самого места, голос степи, видевшей всё. Он шелестел в бурьяне, раскачивал сухие метелки ковыля, и Николаю чудилось, что в этом шелесте слышны обрывки той самой, пёстрой речи его детства, что доносятся сюда, к этому камню, из небытия.

Сидел так, не зная, сколько прошло времени. Минута? Час? Небо темнело, тучи сгустились, обещая наконец пролиться долгожданным дождём. Первые тяжёлые капли упали на затылок, плечи, зашипели на горячей поверхности камня, смывая с него вековую пыль. Но Николай не двигался.

Думал о цикле. О странном, непостижимом цикле бытия. Человек родился, жил, любил, страдал, умер. Его похоронили, поставили камень. Камень треснул, надпись стёрлась, память умерла. И вот, спустя сто с лишним лет, другой человек, плоть от плоти его, пришёл и нашёл этот камень. Не зная, кто именно лежит внизу, но зная, что это – его. Его корень. Его начало.

Расколотый камень был символом. Символом разорванной связи, распавшейся нити, которую он, сам того не ведая, искал всю свою жизнь. И вот теперь, сидя на мокрой земле у этого камня, чувствовал, как эта нить срастается. Не полностью, не идеально – шрам, трещина останется навсегда. Но связь восстановлена.

Дождь усиливался, превращаясь в сплошную, стелющуюся стену воды. Промок до нитки, знобило. Но внутри горел огонь. Огонь обретенной истины. Нашёл не просто доказательства. Нашёл часть себя. Ту часть, что была утеряна, похоронена, забыта. И теперь, держась рукой за шершавый, холодный камень с полустёртой фамилией, впервые за долгие-долгие годы чувствовал, что он – не один.

Глава 8: Последний ритуал

Дождь, начавшийся робкими тяжёлыми каплями, вскоре превратился в сплошной, оглушительный ливень. Стихия обрушилась на пустырь с неистовством, словно само небо вознамерилось смыть позор этого места, очистить от скверны забвения и мусора. Вода хлестала по спине Николая, заливала лицо, затекала за воротник, сливаясь с потом. Но пожилой человек не двигался, сидя, уставившись на камень.

Неподвижность была странной – оцепенение ясное и пронзительно осознанное. Сознание, освобождённое от шока открытия, теперь плавно и медленно, как глубоководный поток, текло по руслу всей его жизни. Внутренним взором Николай видел её всю, от самого начала, с той самой кухни, до нынешнего момента, сидя под дождём у могилы предка. И жизнь эта представляла не чередой случайных событий, а странным, замысловатым узором, все нити которого вели сюда, к этому камню.

Мысли возвращались к его одиночеству. К тому, как оно давно уже было постоянным спутником, даже в толпе, даже в редкие моменты общения. Это была не просто черта характера, а наследие. Наследие человека, чьи корни были подрублены, чья родовая память была стёрта. Он был как дерево, растущее в безвоздушном пространстве, и потому чахнущее. Всегда чувствовалась эта пустота, эта тишина за спиной, где у других людей стояли отцы, деды, прадеды – целый строй предков, дававших опору и смысл.

А за его спиной была лишь туманная легенда о «наших немцах», да несколько странных слов, вплетенных в речь родителей. И всё. Молчание. Провал. И он сам, последний лист на последней ветке, вот-вот готовый оторваться и унести в небытие.

Дрожащей от холода рукой Николай достал из промокшего насквозь внутреннего кармана куртки свою реликвию. Курительную трубку. Держа её в раскрытой ладони, старик наблюдал, как дождь стекал с тёмного дуба, оставляя на серебряном мундштуке чистые, сверкающие дорожки. Она была самым главным, самым концентрированным символом всей его жизни. Символом связи, которая была разорвана, и которую он только что, ценою невероятных усилий, восстановил.

Взгляд скользил с трубки на камень, на полустёртую надпись «...EPTING...». И связь эта становилась осязаемой, почти физической. Трубка в его руке и камень под ногами были двумя полюсами одного магнита, двумя берегами одной реки времени.

«Ну вот, – прошептал мысленно, обращаясь к тому, кто лежал под камнем, и ко всем тем, чьи безымянные могилы окружали. – Ну вот мы и встретились.»

Слова были простыми, но за ними стояла вся гамма переживаний – и боль, и тоска, и странное, щемящее чувство выполненного долга.

«Я пришёл, – продолжал внутренний монолог. – Я нашёл вас. Вы были здесь, жили. Вы любили эту землю, трудились на ней, родили детей, и один из них, через череду поколений, оказался мной. Я – ваш. Ваша кровь. Ваше продолжение. И я помню. Пусть я не знаю ваших имён, не знаю ваших лиц, но я помню ту речь, что вы принесли с собой. Я помню запах вашего хлеба. Я помню ту тоску по далёкой родине, что жила в вас и передалась мне. Почему же мне было так одиноко?»

Мысленный разговор шёл с ними, как с живыми. Рассказывал им о своей жизни. О своём одиночестве. О том, как, сам того не ведая, всю жизнь искал эту встречу. Просил у них прощения за то, что так долго не приходил. За то, что позволил их памяти угаснуть, а их могилам – превратиться в свалку.

И тогда, в самый разгар этой безмолвной исповеди, случилось нечто странное. Чувство горечи, обречённости и щемящей жалости к себе, что годами копилось внутри, стало медленно

отступать. Его место занимало новое, незнакомое чувство – всеобъемлющее, глубокое, безмятежное спокойствие. Это было не безразличие, не усталость. Это было принятие.

Принятие своей судьбы. Принятие того, что он – последний. Принятие того, что его жизнь, со всеми её потерями и одиночеством, была не бессмысленным прозябанием, а последним звеном, замыкающим круг. Тем, кто нашёл и вспомнил.

Старик осознал, что его одиночество – не проклятие, а миссия. Он был тем единственным, кто мог прийти сюда и совершить этот последний ритуал памяти. Ритуал прощания и признания.

«И на этом всё, – пронеслось в голове, и в этой мысли не было отчаяния. – Вы были. Я есть. И этого достаточно. Цепь не разорвана. Она просто дошла до своего конца. И это – закономерно. Это – естественно.»

Сидя в немой позе, держа трубку в одной руке, Николай положил ладонь другой на мокрый, шершавый камень. Пальцы чувствовали неровности гранитной породы, выветренные буквы. Так он соединял их. Соединял артефакт с его источником. Прошлое с настоящим. Жизнь со смертью. Всё тело ломилось от неподвижности и холода, суставы ныли и гудели, а пальцы постепенно коченели, но это была та цена, которую старик был готов платить.

Гроза бушевала вокруг. Ветер выл, раскачивая стебли бурьяна, будто кланяясь в такт этому немому диалогу. Молнии, всё ближе и ослепительнее, прорезали свинцовое небо, и гром гремел, не умолкая, перекачиваясь по степи оглушительными раскатами. Стихия обрушила на землю всю свою ярость, но внутри, в сердцевине сознания, была тишина. Тишина и покой.

Он больше не был одиноким стариком на заброшенном пустыре. Теперь Николай чувствовал себя частью чего-то большего. Частью рода. Частью истории. Дом был найден. И дом этот был не в стенах, а в памяти. В этом камне. В этой трубке. В этой земле, политой потом и кровью его предков.

Неизвестно, что будет дальше. Вернётся ли в свой дом, будет ли жить там, как и прежде. Но теперь он знал, что станет жить иначе. Неся в себе это обретенное знание. Этот покой. Это принятие.

Так он просидел до тех пор, пока силы окончательно не начали покидать промёрзшее, измождённое тело, пока лёгкая дурнота не поплыла в висках. Гроза достигла своего апогея. И в этот момент, когда небо разверзлось окончательно, совершилось последнее, что должен был сделать. Мысленно отпустил их. Отпустил своих предков. Позволил им спать спокойно. И себя отпустил. Смирился с тем, что он – последний. И в этом смирении была не слабость, а величайшая сила.

«Всё кончено, – отозвалось в глубине, и это была не констатация конца, а констатация завершённости. – Всё на своих местах.»

Закрыв глаза, Николай подставил лицо ледяным струям дождя, смывающим грязь, усталость и давнюю, мучительную тоску.

Глава 9: Удар стихии

Это был уже не дождь, а нечто первобытное, апокалиптическое. Небо, разверзшееся над Розовкой, изливало на землю не воду, а самую субстанцию хаоса – ледяную, яростную, сметающую всё на своём пути. Ветер превратился в сплошной, оглушительный рёв, вырывающий с корнем кусты бурьяна и швыряющий в лицо Николая комья мокрой земли. Сидящий у камня человек вжал голову в плечи, и ему казалось, что он стал центром этого разбушевавшегося мира, его неподвижным, но беззащитным ядром.

Николая охватила странная апатия, глубокая, как омут. Физическое истощение, эмоциональная опустошённость после пережитого катарсиса и ледяная влага, пронизывающая до костей, слились в единое ощущение отрешённости. Старик больше не чувствовал ни своего тела, ни холода, ни страха. Он был лишь точкой сознания, затерянной в грохочущей, неистовой вселенной. Мысли текли медленно, вязко, как подтаявшая смола.

«Пусть так. Пусть заберёт. Здесь и сейчас. У подножия этого камня. Это... логично.»

Это была не мысль о самоубийстве. Это было окончательное, тотальное принятие. Если стихия решила забрать его – пусть забирает. Он сделал то, ради чего пришёл. Нашёл своих. Замкнул круг. Его миссия завершена. В этой мысли была горькая, но совершенная законченность.

Николай не видел, как на краю поля, там, где когда-то была опушка леса, стоял старый, могучий дуб. Его вековой ствол, почерневший от времени и непогод, казался таким же вечным и незблемым, как камень, около которого находился путник. Дуб был последним немым свидетелем, хранителем тайн этого места, помнящим и колонистов, скрип их телег, детский смех, и молитвы на чужом языке.

И тогда случилось.

Ослепительная, фиолетово-белая жила молнии, раскалённая до состояния солнечного ядра, на мгновение пронзила мрак, соединив небо и землю. Она ударила не рядом, не где-то в поле. Она ударила точно в вершину дуба. Удар был не просто оглушительным. Он был физическим. Воздух сгустился, задрожал, и мощная ударная волна, невидимый кулак из чистой энергии, ударила в сидящую фигуру, оглушая и сбивая с ног даже в сидячем положении.

Инстинктивно вжав голову в плечи, Николай сгорбился. Его руки сами собой сомкнулись в едином, последнем, глубоко архаичном жесте. Одна прижала к груди курительную трубку, вцепившись в неё, как в последний якорь своей старой жизни, свой последний опознавательный знак. Другая, распластанная ладонью, легла на шершавую, мокрую поверхность камня, на те самые полустёртые буквы «...EPTING...». Он искал защиты. Защиты у артефакта и у предка.

В этот миг соединения – плотского контакта с прошлым и символом своей личной истории – его и накрыла вторая волна. Но это была не волна звука или воздуха. Это была волна иного порядка.

Боли не было. Не было привычного ощущения электрического удара. Вместо этого его накрыло всепоглощающее чувство полного физического и ментального диссонанса. Земля, твёрдая и надежная под коленями, внезапно ушла из-под ног. Но падения не последовало. Было проваливание. Не в яму, а в ничто. В ощущение полной невесомости и потери ориентации. Звуки – рёв ветра, яростный стук дождя, грохот грома – оборвались на полуслове, сменившись оглушительной, давящей тишиной, звонкой, как крик в вакууме.

Зрение помутилось. Сначала мир поплыл, закрутился вихрем из серых и зелёных пятен, а затем его заволокла густая, молочно-белая пелена. Попытка вдохнуть оказалась тщетной – воздуха не было. Вернее, он был, но не тот. Густой, тяжёлый, со странным привкусом – не

грозы, не пыли, не полыни. Словно его лёгкие, привыкшие к воздуху XXI века, вдруг отказались принимать эту новую, чужеродную субстанцию.

Тело перестало подчиняться. Не было возможности пошевелиться, не было сил крикнуть. Он был сознанием, запертым в парализованной плоти, которую неумолимо затягивало в какую-то воронку. В висках стучало бешено, в такт отчаянным ударам сердца, готового разорвать грудную клетку. Мысли спутались, поплыли. Вспышки памяти – лицо отца, карта на столе, Лидия Петровна в музее, камень под дождём – мелькали, как обрывки сгорающей пленки, и тут же тонули в набегающей белой мгле.

Это не было похоже на обморок. Обморок – это провал, отсутствие. Это же было присутствием в аду собственного распада. Он чувствовал, как его «Я», личность, та самая, что формировалась семьдесят лет, начинает разматываться, как клубок, терять свою форму. Он был подобен молекуле, которую разрывают на атомы.

Длилось это вечность. Или мгновение. Вне времени понять было невозможно. Последним, что проплыло в распадающемся сознании, был образ. Не из памяти. Чужой. Молодой парень в грубой, незнакомой одежде, с испуганным лицом, сжимающий в руке... но нет, образ исчез, не успев сформироваться.

А потом был только белый, оглушительный, всепоглощающий взрыв тишины внутри собственного черепа.

И сознание, не выдержав нагрузки, погасло.

Николай не потерял сознание. Он израсходовал его. Оно, как свеча, догорела до конца в этом шторме, рождённом на стыке времён, и потухла.

Тело, та оболочка, что ещё секунду назад была телом семидесятилетнего Николая Гептинга, безвольно осело на размокшую землю у подножия расколотого камня. Но того, кто мог бы это осознать, в нём уже не оставалось. Была лишь пустая, безмолвная оболочка, лишённая воли и сознания, которую хлестал дождь, уже потише, словно и впрямь выполнивший свою страшную миссию.

Глава 10: Чужак в траве

Сознание возвращалось не вспышкой, а медленным, тягучим приливом. Первым, что проступило сквозь пелену небытия, было ощущение. Не боль, не холод, а нечто навязчивое и лёгкое. Что-то щекотало щёку. Шевелилось, колыхаясь в такт какому-то ритму, которого ещё не слышали, но уже чувствовали кожей. Это оказался колосок дикой травы, тонкий и упругий, качавшийся у самого лица.

Потом пришёл звук. Не оглушительная тишина распада, а тихий, неспешный шелест. Шелест тысяч таких же травинок, гонимых ветерком. И сквозь него – ясное, звонкое пение птицы где-то совсем рядом. Не воробья, не вороны. Какая-то незнакомая, сложная трель, полная беззаботной радости. Где-то вдалеке, приглушённо, пророкотало мычание коровы, и этот звук был таким глубоким, таким мирным и древним, что отозвался чем-то забытым, дремавшим на самом дне памяти.

Лежащий на спине человек медленно, с огромным усилием, будто веки его были свинцовыми, открыл глаза.

И замер.

Небо над головой было не свинцово-серым, не грозovým. Оно оказалось ясным, пронзительно-голубым, каким бывает только ранним утром после ночной бури. По нему плыли редкие, ослепительно-белые клубящиеся облака. Солнце, ещё не набравшее полной силы, золотило их края и заливало тёплым, бархатистым светом всё вокруг.

Вместо грязного, заваленного мусором пустыря перед глазами открылся зелёный, сочный луг, усеянный полевыми цветами – белыми ромашками, синими васильками, алыми головками клевера. Трава вокруг была высокой, по пояс, и в ней поблёскивала роса. Тот самый ветерок, что щекотал лицо, гнал по лугу медленные, шелковистые волны, и от этого весь мир казался живым, дышащим единым организмом.

«Больница... – промелькнула первая когерентная мысль. – Это галлюцинация. Удар током... повреждение мозга... они подключили меня к аппаратуре, а это... сон. Или проект... Может, это рекультивация, засеяли всё травой, а меня... контузило?»

Медленно, с невероятной осторожностью, приподнявшись на локтях, Николай ощутил непривычную лёгкость в теле. Не было знакомой ломоты в суставах, ноющей боли в пояснице, скрипа коленей. Движения были плавными, сильными, будто кто-то вынул его из старого, изношенного тела и поместил в другое, новое, смазанное и отлаженное.

Взгляд упал на руки, упёртые в землю. И не узнал их. Это были руки юноши. Крепкие, с выпуклыми костяшками, с упругой, загорелой кожей, покрытой лёгким золотистым пушком. Ни морщин, ни пигментных пятен, ни синих прожилок вен. Сжатая в кулак ладонь продемонстрировала силу, которой не чувствовал уже лет пятьдесят.

Паника, как ледяной укол, кольнула под ложечкой. Вскочив на ноги – вернее, поднявшись одним лёгким, упругим движением, невозможным в прежнем состоянии, – ошеломлённый мужчина застыл, покачиваясь, и принялся оглядываться вокруг, пытаясь найти хоть что-то знакомое.

Ландшафт представал словно знакомый мотив, сыгранный на незнакомом инструменте. Общие очертания – холм, низина – соответствовали ментальной карте. Но детали... детали оказались чужими. Другой рисунок растительности на склонах, иной изгиб линии леса на горизонте. Не было ни Розовки, ни её домиков, ни линий электропередач. Не было и свалки. Открывалась лишь чистая, дышащая покоем земля. Воздух был кристально чист, пах свежескошенной травой, влажной землёй и дымком – не машинным выхлопом, а древесным, печным.

Резко обернувшись в поисках расколотого камня, последнего якоря, молодой человек обнаружил на его месте густой куст шиповника, усыпанный бледно-розовыми цветами.

«Камень... где камень? Где Я?»

Взгляд скользнул вниз, по собственному телу. На нём была не промокшая насквозь одежда, а грубые, домотканые штаны из плотного льняного полотна, заправленные в неуклюжие, стоптанные башмаки из кожи. На теле – просторная рубаша из той же грубой ткани, с широкими рукавами и глухим воротом. Всё это было чужим. Пахло потом, дымом и овчиной.

Пальцы потянулись к лицу. Кожа оказалась гладкой, упругой. Ни морщин, ни обвисших щёк. Рука провела по голове. Вместо редких седых волос пальцы наткнулись на густые, жёсткие, коротко остриженные пряди.

Ужас, настоящий, животный, физиологический ужас накатил волной. Молодое, сильное сердце забилося с такой бешеной частотой, что перехватило дыхание.

«Всё. Всё другое.»

Сделав несколько неуверенных шагов, Николай направился к ручью. Вода в нём была прозрачной, холодной, на дне виднелись мелкие камешки. Наклонившись, путник заглянул в своё отражение.

Из воды на него смотрел незнакомец. Юноша лет семнадцати. С румяными, обветренными щеками, с твёрдым, пока ещё безбородым подбородком, с густыми бровями и широко распахнутыми от ужаса глазами. Глаза... глаза были его. Такие же серо-голубые, как у отца. Но в них сейчас не было мудрой усталости семидесяти лет. В них читался дикий, неконтролируемый страх.

Резко отшатнувшись от воды, чуть не потеряв равновесие, молодой человек прошептал своим новым, чужим голосом, звучащим глубже и грубее: «Я сошёл с ума. Или...»

Оставшись стоять посреди луга, сильный и абсолютно одинокий, он ощутил последнюю, самую страшную догадку, оформившуюся в сознании и отзывавшуюся ледяной пустотой в душе.

Всё, что составляло его жизнь – дом в Розовке, воспоминания, старость, – оказалось отрезанным. Отшвырнутым куда-то в небытие. Сохранились лишь это юное тело, эта чужая одежда и эта незнакомая земля под ногами.

Его не было в своём времени. Не было в Розовке. А где и когда он находился – оставалось абсолютной, всепоглощающей загадкой

Глава 11: Пустые карманы

Стоя над ручьем и глядя на незнакомое отражение, Николай вдруг осознал, что левая рука судорожно сжимает что-то. Память тела оказалась сильнее памяти разума – ладонь всё ещё хранила мышечный приказ, отданный в последний миг у камня: «Держи! Не отпускай!»

Пальцы, сильные и ловкие, сжались в кулак... и встретили лишь пустоту. Не было ни шершавого дерева, ни холодного прикосновения серебра. Только влажный воздух и собственное тепло.

Это осознание ударило с новой, особенной силой. Если тело изменилось до неузнаваемости, если мир вокруг преобразился, то трубка... трубка должна была остаться последней константой. Единственным мостом между тем, кем был старик из Розовки, и тем, в кого превратился этот юноша.

– Нет... – прошептал он, и низкий, чужой голос прозвучал дико. – Не может быть.

Застывший над водой молодой человек не мог оторвать взгляд от своей пустой руки. Резко обернувшись, путник начал выхватывать из пейзажа уже не красоту, а угрозу. Этот идиллический луг, щебетание птиц, ласковое солнце – всё превратилось в декорации к кошмару. Отбросив мысль о своём теле, о времени, о месте, всё внимание сосредоточилось на главном. Всё это было слишком огромно, слишком непостижимо. Трубка же оставалась конкретной, осязаемой. Она являлась последней нитью, последним доказательством того, что прежняя жизнь не была сном. Без неё он становился никем. Чужим самому себе, запертым в чужой плоти в незнакомом мире.

Собрав всю волю, заставив себя вспомнить последние секунды, перед внутренним взором проплыли дождь, камень, удар молнии. Ладонь на камне, рука, сжимающая трубку на груди. Упал? Выронил её?

Бросившись на то место, где лежал, юноша начал ползать по траве на четвереньках, как животное. Молодое тело работало безотказно, мышцы послушно напрягались, но внутри всё кричало от ужаса. Раздвигая густые заросли, вглядываясь в каждую травинку, в каждый камешек, пальцы ворошили влажную землю, прощупывали кочки. Ползущий по кругу человек расширял радиус, дыхание становилось частым и прерывистым.

«Где же она? Где?» – стучало в висках, сливаясь с бешеным стуком сердца.

Трубка представлялась с болезненной чёткостью. Прохладная тяжесть морёного дуба. Холодок серебряного мундштука. Шершавый скол на чашечке, который так любилось ощупывать. Почти физически чувствуя её в своей руке, приходило страшное осознание – рука пуста.

Прошло, наверное, минут двадцать. Обыскав всё вокруг в радиусе десяти метров, нашлось лишь несколько гладких камней, сухая ветка, пустая ракушка. Но трубки не было. Её не было нигде.

И тогда это осознание, холодное и тяжёлое, обрушилось в пустоту нового, чужого естества с сокрушительной силой. Оно оказалось куда страшнее, чем осознание молодого тела или незнакомое пейзажа. Став окончательным и бесповоротным приговором.

Это был не просто перенос в другое место. Не просто путешествие в другое время. Это было отсечение. Отсечение от всего, что было дорого, что составляло личность. От Розовки, своего дома, воспоминаний, запахов и звуков. Даже от этого последнего символа, от этой немой летописи рода, произошло отлучение.

Трубка была паролем, пропуском в прошлое, его собственным прошлым. И теперь этот пропуск аннулировали. Дверь захлопнулась навсегда.

Перестав ползать, обессиленный человек опустился на колени, потом безвольно повалился на бок, уткнувшись лицом в прохладную, пахучую траву. Рыдания подступили к горлу, сухие, без слёз, мучительные спазмы, выворачивающие душу наизнанку. Это были не слёзы

об утраченной старости. Это был плач о себе. О том Николае Гептинге, который умер там, у камня, под дождём. Этот же юноша, сильный и здоровый, был пустой оболочкой, склепом, в котором был заживо погребён другой человек.

Он перевернулся и посмотрел в небо. Облака плыли своей неторопливой походкой. Птицы пели свои беспечные песни. Мир жил своей жизнью, прекрасной и безразличной к горю. Здесь он был абсолютно один. Не просто в физическом смысле – вокруг не было людей. Это было одиночество в метафизическом смысле. Его «Я» оказалось в полной изоляции, в вакууме, без единой точки опоры.

Вспомнилось последнее ощущение у камня – то самое странное спокойствие, принятие. Какой иронией оно теперь казалось! Казалось, что нашёл покой, обретя корни. А вместо этого вырвали с этими корнями и швырнули в чуждую почву.

Сжав пальцы, он вонзил их в землю. Боль, которую хотелось почувствовать, чтобы убедиться, что жив, что это не сон, не приходила. Земля оставалась мягкой, податливой, не причиняющей боли молодым, крепким ладоням.

Отчаяние сменилось глухой, безысходной тоской. Тоской по утраченному дому, которого больше не существовало. Тоской по своей кровати, столу, запаху пыли на чердаке.

Он был последним Гептингом, и теперь очередь подошла к тому, чтобы ему быть стёртым из памяти. Только в его случае это было не медленное забвение, а мгновенное, жестокое отсечение.

Лёжа в траве, молодой, полный сил, он чувствовал себя дряхлым стариком, пережившим самого себя. Опустошенный и выброшенный за борт собственной жизни юноша остался абсолютно один. Не просто покинутым, а отсечённым. И в этом новом, чужом мире не оказалось даже символа, напоминающего о том, кем он был. Только память. И эта память в новом черепе казалась теперь чужим, тяжёлым и бессмысленным грузом.

Казалось, дальше этого отчаяния ничего нет. Сплошная чёрная стена. Но когда внутренний вопль стих, оставив после себя ледяную пустоту, его взгляд, затуманенный горем, снова сфокусировался на мире вокруг.

Сквозь щель в прорве отчаяния пробился луч – не метафорический, а самый что ни на есть настоящий. Солнечный луч, пробившийся сквозь листву и осветивший травинку у его лица. Он увидел, как та идеально зелёная, сочная дрожит от ветерка, как на ней играет и переливается роса. И он, сам того не желая, вдохнул. Глубоко. В груди не колыхнулось привычное, старческое хрипение. Воздух вошёл легко и свободно, наполняя лёгкие, не встречая преград. Ни одной боли в спине. Ни одного прострела в колене.

Он разжал пальцы, впившиеся в землю, и посмотрел на свою руку. Руку юноши. Сильная, с чёткими жилами, с целой, не искривлённой артритом ладонью. В этой руке не было трубки. Но в ней была сила. Та самая сила, что билась сейчас в его висках ровным, мощным ритмом.

Он всё потерял. Всё. Но дьявольская ирония заключалась в том, что ему вернули то, о чём он тайно вздыхал последние двадцать лет. Молодость. Здоровье. Целую жизнь, лежавшую перед ним, как этот незнакомый, но бесконечно широкий горизонт.

«Зачем?» – пронеслось в голове. Зачем всё это, если отняли всё остальное?

Ответа не было. Была лишь эта новая, чужая плоть, дышащая и живущая своей собственной, навязанной ему жизнью. И пока она жила, в ней теплилась искра. Искра вопреки. Искра, которая не давала просто сгореть в этом пожаре тоски. Он был выброшен за борт. Но не утонул. Его вынесло на какой-то новый, неведомый берег. Страшный, пугающий, но – берег.

Николай не знал, где он. Не знал, что ему делать. Но он был жив. Молод. И силен. А это, как ни крути, уже было не просто концом, но и самым безумным, самым немыслимым началом.

Глава 12: Первые шаги

Он лежал, быть может, час, быть может, два. Время в этом новом мире утратило свою привычную упругость, растеклось аморфной, тягучей массой. Солнце, поднимаясь выше, сменило ласковые утренние лучи на жгучие, безжалостные стрелы, которые прожигали грубую ткань рубахи и жгли лицо. Но даже этот физический дискомфорт не мог сравниться с внутренним холодом, сковавшим душу. Тоска была подобна свинцовому савану, окутавшему всё его существо, парализовавшему волю.

Но затем в эту гнетущую тишину сознания стало вползать другое ощущение, более древнее, властное, чем даже отчаяние. Голод. Сначала это был лишь лёгкий, напоминающий о себе позыв в глубине желудка. Но вскоре он перерос в настойчивое, мучительное урчание, в пустоту, которая, казалось, разъедала изнутри. Вслед за голодом пришла жажда. Горло пересохло и запершило, язык прилип к нёбу.

Новое, молодое тело, эта чуждая, но единственно доступная теперь оболочка, требовало своего. Оно не желало знать о метафизических трагедиях, о разрывах во времени, о потерянной идентичности. Тело хотело есть, пить и продлевать своё существование. И этот животный, неприкрытый инстинкт выживания оказался сильнее экзистенциального ужаса.

Стоны, которые Николай издавал от душевной боли, сменились тихим стоном физической нужды. Сев, путник почувствовал, как голова кружится от слабости. Он должен был двигаться. Искать. Вода. Еда. Признаки жизни, которые не были бы враждебными.

И тогда он услышал. Сперва это был далёкий, едва различимый звук, вплетённый в шелест травы и щебет птиц. Пение петуха. Чёткое, ясное, жизнеутверждающее. Оно донеслось откуда-то с востока. А следом, поймав взгляд, молодой человек увидел на горизонте, над верхней линией леса, тонкую, сероватую струйку дыма. Она медленно поднималась в безмятежное небо, извиваясь, как призрачная змея. Дым. Значит, был очаг. Был дом. Были люди.

Надежда, крошечная, как росток, пробивающийся сквозь асфальт, шевельнулась в нём. Не надежда на возвращение – эта дверь, как он понял, захлопнута навсегда. Надежда просто не умереть здесь, в этой идиллической, но безжалостной глуши, от голода и жажды.

Поднявшись на ноги и отряхнув прилипшие к штанам травинки, Николай, пошатываясь, побрёл на звук и на дым. Ноги сами несли его, повинуюсь древнему, заложенному в генах знанию: где дым – там пища, тепло и, возможно, безопасность.

Шаг за шагом он преодолевал луг, пока не вышел на грунтовую дорогу – две глубокие, наезженные колеи с полосой высокой травы посередине. Дорога вела к деревне, которая теперь открывалась взгляду. Это было не село в его привычном понимании. Не было ни одного кирпичного дома. Все строения были низкими, приземистыми, сложенными из тёмных бревен, но чаще – это были фахверковые дома: почерневшие деревянные балки складывались в причудливый геометрический узор, а пространство между ними было забито комьями глины. Но все без исключения обладали высокими, крутыми соломенными крышами, похожими на взъерошенные шапки. Между домами бродили куры, у плетня лежала огромная, ленивая свинья, у колодца с журавлём стояла деревянная бадья.

И люди. Их было немного – две женщины в тёмных, до пят, юбках и корсажах поверх просторных рубах, с лицами, обрамлёнными белыми полотняными чепцами несли корзины с бельём; мужчина в поношенных штанах из грубого сукна, заправленных в грязные кожаные гамашы, и в длинной холщовой рубахе с боковым разрезом чинил телегу. И все они были одеты... иначе. Не так, как он, но и не так, как в его времени. Одежда была простой, функциональной, лишённой каких бы то ни было признаков современности. Она кричала о своей архаичности.

Сердце заколотилось, но уже не только от страха, но и от предвкушения. Подойдя ближе, путник почувствовал на себе тяжёлые, изучающие взгляды. Взгляды были не враждебными, но настороженными. Он был чужим. Это читалось в каждой морщинке их лиц, в самой их позе.

Остановившись перед мужчиной у телеги и собравшись с духом. Какой язык здесь может быть понятен? Русский? Украинский? Мысль показалась абсурдной при виде этой архитектуры и лиц. Оставался лишь один, отчаянный шаг. Сделав глубокий вдох, Николай произнёс фразу на том самом немецком, обрывки которого слышал от родителей, вкладывая в слова всю свою надежду и страх:

– Entschuldigung... Wo bin ich hier? (Извините... Где я нахожусь?)

Мужчина перестал стучать молотком и медленно поднял на него глаза. Глаза были узкими, внимательными. Он смерил незнакомца взглядом с головы до ног.

Сердце Николая ёкнуло. Он понял! Мужчина не просто уставился на сумасшедшего – в его взгляде мелькнуло узнавание звуков, пусть и чуждых по акценту. Значит, он угадал. Но что это значило?

– Was? (Что?) – прорычал мужчина. Его речь была густой, нарочито грубой, полной гор-
таных звуков...

Николай почувствовал, как почва уходит из-под ног. Он попробовал ещё раз, говоря медленнее, пытаясь подражать архаичным оборотам, которые слышал от отца:

– Ich... ich bin verloren. Der Name dieses Dorfes? (Я... я заблудился. Название этой деревни?)

Женщины остановились и смотрели на него, не скрывая любопытства. Одна из них что-то шепнула другой, и та фыркнула, прикрыв рот рукой. Мужчина у телеги усмехнулся, обнажив редкие, жёлтые зубы.

– Hört sich an wie 'n gottverdammter Städter, – проворчал он, обращаясь больше к женщинам, чем к Николаю. (Звучит как проклятый горожанин).

Другая женщина, помоложе, с любопытством разглядывавшая его, сказала что-то быстро, и в её речи Николай уловил знакомое слово «fremd» – чужой.

Он понял, что его речь, произношение, сама манера строить фразы – всё это выдавало чужака. Попытка говорить на их языке была столь же неуклюжей, как если бы корова попыталась заговорить с овцами. Языковой барьер, который он надеялся преодолеть с помощью обрывков семейного наречия, оказался не просто стеной, а целой крепостной твердыней.

Мужчина у телеги, закончив осмотр, махнул на незнакомца рукой, словно отгоняя назойливую муху, и что-то грубо крикнул, чего Николай уже не разобрал, но интонация была ясна: «Пошёл прочь».

Унижение было острым и жгучим, заставив кровь прилить к щекам и смешавшись с растерянностью. Отступив на несколько шагов, юноша чувствовал, как на него смотрят десятки невидимых глаз из-за ставней и плетней. Он был изгоем. Белой вороной. Человеком без рода, без племени, без языка.

Повернувшись, Николай пошёл прочь от деревни, назад, к открытой степи. Голод и жажда никуда не делись, они стали лишь острее на фоне этого провала. Мельком взглянув на колодец, он с горечью осознал, что подойти к нему под прицелом этих изучающих взглядов было бы невыносимым унижением. Сначала нужно было заслужить право на воду.

Но теперь к физической нужде прибавилось нечто иное – проблеск решимости. Примитивной, отчаянной, животной решимости выжить любой ценой. Он не знал, где находится, не знал, в каком времени. Но знал, что должен есть, пить и найти укрытие. А для этого нужно было научиться быть незаметным. Научиться слушать, наблюдать и, возможно, обманывать. Первая попытка контакта провалилась. Но война за место в этом новом, старом мире только начиналась.

Глава 13: Голодные ночи

От деревни Николай уходил, как от чумы, ощущая в спине жгучую иглу чужих взглядов. С каждым шагом по пыльной колее грубая ткань рубахи, казалось, натирала не кожу, а саму душу, обнажая незаживающую рану нового существования. Унижение, острое и едкое, как дым от горелого волокна, медленно оседало внутри, смешиваясь с тлеющими углями страха. Но сейчас эти сложные, горькие человеческие эмоции отступили перед властным, простым и неумолимым диктатом плоти.

Голод из назойливого напоминания превратился в полноправного хозяина тела. Это была уже не просто пустота в животе, а физическая сила, сжимающая внутренности в тугой, болезненный узел. Каждый мускул, каждое сухожилие этого молодого, сильного тела, казалось, кричало о своей не востребованности, требуя топлива, энергии, жизни. Жажда стала огненной полосой в горле, раскалённым клинком, вонзившимся в основание черепа. Мир вокруг, ещё недавно такой яркий и пугающий в своих незнакомых очертаниях, начал терять краски и расплываться, уступая место единственной, маниакальной идее: найти пищу. Найти воду.

Инстинкт, древний и мудрый, гнал прочь от людей. Их мир был враждебен, язык – непроницаемая стена. Единственным союзником и одновременно тюремщиком была природа. Николай побрёл вдоль опушки леса, что темнела справа от дороги сплошной, почти чёрной стеной. Глаза, привыкшие выхватывать из городского пейзажа вывески и номера домов, теперь с лихорадочной напряжённостью сканировали окрестность в поисках чего-то съедобного. В поле зрения попадались коренья, похожие на те, что ел в детстве у бабушки в деревне, но страх отравиться в этом безжалостном мире, где некому было бы помочь, оказывался сильнее голода. Взгляд скользнул по кусту с мелкими красными ягодами, но смутный обрывок памяти, будто голос из другого измерения, шепнул: «волчья ягода». И пришлось пройти мимо, сглотив комок ничего в пересохшем горле.

Солнце, безразличный тиран этого мира, начало клониться к закату, отбрасывая длинные, уродливо вытянутые тени. Силы покидали измождённое тело. Ноги стали ватными, в висках отдавался глухой, мерный стук, совпадающий с ударами сердца. В голове поплыли круги, и пейзаж начал терять резкость, как плохо сфокусированная фотография. Становилось ясно: если сейчас не найти укрытия и не прилечь, ночь застанет здесь, на открытом месте, и тогда... Николай боялся додумать до конца.

И тут взгляд упал на него. Огромный, почти до самого леса, стог сена, сложенный в стороне от дороги, на краю поля. Он был похож на спящего золотистого зверя, на гигантский улей, на нелепый, но такой желанный символ спасения. Это был дом. Единственный, который этот мир был пока готов предложить.

Собрав последние силы, несчастный странник, спотыкаясь о кочки, побрёл к стогу. Запах сухих трав, пыльный и тёплый, ударил в ноздри, показавшись самым прекрасным ароматом на свете. С трудом вскарабкавшись на склон, проваливаясь по пояс в упругую, шелестящую массу, Николай добрался до вершины. И тут же начал отчаянно разгребать сено руками, словно животное, роющее нору. Через несколько минут удалось создать подобие гнезда, глубокую нишу, скрытую от чужих глаз и от надвигающегося ночного холода.

Николай рухнул в это импровизированное ложе, и тело, измученное, отключилось почти мгновенно. Но сон был не отдыхом, а продолжением кошмара наяву. Снились обрывки прошлого: лицо отца, склонившегося над ним, но вместо родных черт – суровое, обветренное лицо мужика у телеги; попытки крикнуть, но из горла вырывался лишь хриплый шёпот; видение трубки, своей трубки, но она была огромной, как дерево, и до неё невозможно было дотянуться. А сквозь все эти видения проступал один и тот же навязчивый образ: миска с дымящимся борщом, стоявшая на столе дома в Розовке. Он видел каждую каплю жира на поверхности,

каждый кусочек свеклы, чувствовал запах чеснока и зелени. Протягивал руку, но миска отдавалась, превращаясь в призрак, в мираж, рождённый больным сознанием.

Проснулся от холода. Ночь вступила в свои права, раскинув над миром бархатный, усеянный алмазными искрами полог. Здесь, вдали от городских огней, звёзды сияли с невероятной, почти пугающей яркостью. Млечный Путь был размытым светящимся следом, божественной рекой, текущей через бездну. Но красота оставалась незамеченной. Николай видел лишь чёрный, бездушный космос, бесконечное пространство, в котором он был один-одинёшенек. Холод просачивался сквозь сено, цеплялся ледяными когтями за тонкую рубаху, заставлял зубы выбивать дробь.

А потом пришли они. Сначала одинокий, высокий комариный писк у самого уха. Потом другой. И вот уже целый рой голодных насекомых вился над единственной тёплой и живой добычей в округе. Гады садились на лицо, на руки, впивались в кожу с настойчивостью крошечных вампиров. Он отмахивался, хлопал себя по лицу, но это было бесполезно, словно пытаться остановить ветер. Каждый укол был крошечным унижением, жгучим напоминанием о собственной уязвимости, о том, что он – всего лишь кусок мяса в огромном, равнодушном мире, готовый пир для мириад голодных ртов.

Ночь длилась вечность. Николай лежал, зарывшись в сено, пытаясь согреться собственным дыханием, и смотрел в звёздное небо. Мысли, ещё недавно такие сложные, о судьбе, о времени, о парадоксах бытия, упростились до примитивных, животных сигналов, выжигая всё лишнее, оставляя лишь сухую, оголённую правду: «Холодно. Больно. Хочу есть. Хочу пить». Он теперь был ближе к земле, к этому стогу, к этим комарам, чем когда-либо за всю свою жизнь. Превратившись в зверя, загнанного в угол, чья цивилизация, прошлое, знания – всё это оказалось хламом, бесполезным грузом, от которого следовало бы избавиться, чтобы не сойти с ума.

Рассвет пришёл не спеша. Сначала чернота на востоке сменилась густой синевой, потом в неё вплелись оттенки лилового и розового. Звёзды одна за другой гасли, как уставшие стражи. И с первыми лучами солнца, золотившими верхушки деревьев, Николай увидел её.

На опушке леса, не более чем в сотне шагов от убежища, стояла старуха. Такая же древняя и иссохшая, как корень старого дуба. Она была сгорблена под тяжестью лет и маленькой холщовой сумы, переброшенной через плечо. В костлявых, тёмных от загара руках незнакомка держала пучок каких-то трав и медленно, с привычной аккуратностью, срезала стебли тусклым ножиком.

Сердце заколотилось, но на этот раз не только от страха. Николай замер, боясь спугнуть это видение. Она ещё не заметила. Наблюдал, как движется – неторопливо, методично, словно часть самого леса, словно гриб или лишайник. Старуха была плотью от плоти этого мира, его законной обительницей.

И тогда, не думая, не рассчитывая, повинувшись лишь тому же животному инстинкту, что заставил искать этот стог, пошевелился. Осторожно. Сено под ним зашуршало. Старуха подняла голову. Её глаза, маленькие, глубоко посаженные, как две сморщенные ягоды бузины, уставились прямо на незнакомца. В них не было ни страха, ни удивления. Был лишь спокойный, усталый интерес.

Так и смотрели друг на друга сквозь утреннюю дымку. Два одиночества. Две загадки. Он – пришелец из ниоткуда, она – хранительница вековых трав.

Николай попытался что-то сказать, но из пересохшего горла вырвался лишь хриплый, нечленораздельный звук. Сделав слабый, умоляющий жест рукой, указал себе в рот. Это был уже не человек, просящий помощи. Но раненый зверь, умоляющий о пощаде.

Старуха смотрела на него ещё мгновение, её лицо оставалось непроницаемым. Потом медленно, не спуская с незнакомца глаз, опустила свою суму на землю, порылась в ней и

достала оттуда небольшой, тёмный, неровной формы объект. Подойдя на несколько шагов ближе, не говоря ни слова, бросила его в сторону Николая.

Предмет упал в траву у подножия стога. Это была краюха хлеба. Не тот белый, воздушный батон, что покупал в магазине. Это был плоский, тяжёлый брикет, почти чёрный, грубый, как булыжник.

Скатившись со стога, не чувствуя под собой ног, и на четвереньках бросился к хлебу. Схватил его обеими руками, ощутив вес, его шершавую, потрескавшуюся корку. Поднёс к лицу, вдохнул запах – кисловатый, плотный, настоящий. Это был запах жизни, ворвавшийся в него с силой потрясения.

Отломил кусок и сунул в рот. Хлеб был твёрдым, его приходилось долго жевать, размачивая слюной, но каждый крошечный кусочек, сползая по пищеводу, был подобен причастию, обжигающему актом возвращения к существованию. Это была не еда. Это было таинство, торжествующее над распадом. Это было доказательством того, что мир, этот жестокий и чужой мир, всё-таки подал знак. Не отверг окончательно.

Съев несколько жадных кусков, он поднял глаза, чтобы поблагодарить. Но старуха уже отходила, её сгорбленная фигура растворялась в тени леса. Попытался крикнуть ей вслед своё «Danke!», но речь, смешанная с крошками хлеба, снова оказалась непонятным набором звуков.

Старуха, не оборачиваясь, лишь подняла руку и сделала странный, отрывистый жест – не то крестное знамение, не то знак, отгоняющий злых духов. И скрылась среди деревьев, бормоча что-то под нос. Разобрал лишь одно слово, прошипевшее в утренней тишине: «...Naht...» Дурачок.

Николай остался сидеть на корточках у стога, сжимая в руках своё сокровище – краюху чёрствого хлеба. Унижение от этого слова было уже не таким острым. Оно тонуло в физиологическом удовлетворении, в простой, животной радости насыщения, которая затмевала всё остальное.

Не нашел дома. Не нашёл ответов. Не нашёл друзей. Нашёл стог сена, полный комаров, и старуху, которая сжалась над «дурачком», дав шанс прожить ещё один день.

И впервые за всё время, прошедшее с того рокового удара молнии, этого было достаточно. Более чем достаточно. Это было чудо. Сидел, медленно жуя грубый хлеб, и смотрел, как поднимается солнце. И в душе, выжженной отчаянием, шевельнулось что-то новое. Не надежда. Пока ещё нет. Но упрямая, серая, как этот хлеб, воля. Воля жить.

Глава 14: Дорога в никуда

У стога сидел ещё долго после того, как старуха исчезла в лесной чащобе, словно призрак, порождённый самим утром. Каждый крошечный кусочек хлеба рассасывался во рту, превращаясь в сладковатую, кислую пасту, растягивая это ни с чем не сравнимое удовольствие, этот акт возвращения к жизни. Грубая корка царапала нёбо, но эта боль была приятной, почти сладостной – доказательством реальности происходящего. Хлеб, простой чёрный хлеб, стал и пищей, и лекарством, и священным текстом, в котором путник пытался прочесть хоть крупицу смысла этого нового мира.

Когда последняя крошка была съедена, а на ладони остались лишь следы мучной пыли, тщательно слизанные языком, внутри что-то переключилось. Первобытный ужас и отчаяние ночи отступили, уступая место новому, не менее древнему чувству – необходимости движения. Сидеть здесь, у этого стога, значило смириться с участью того самого «Narr» – дурачка, которого он, по сути, и олицетворял сейчас для этого мира. Нужно было идти. Куда? Не имело значения. Дорога, эта глубокая, наезженная колея, была единственным указателем, единственным вектором в хаосе его существования.

Сполоснув лицо и руки в придорожной луже, мутная вода которой показалась нектаром, Николай снова ступил на твёрдую, утопанную землю пути. Дорога сейчас была не просто дорогой. Она была жизненной артерией, медленно пульсирующим нервом, связывающим воедино разрозненные части этого незнакомого ландшафта. И по этому нерву, как кровяные тельца, двигались люди.

Сначала это была лишь одинокая фигура вдалеке, но по мере того как солнце поднималось выше, выжигая ночную сырость и наполняя воздух густым запахом нагретой пыли и полыни, их становилось всё больше. Вот медленно, скрипя несмазанными осями, проползла тяжёлая крестьянская телега, гружённая мешками. Сидевший на облучке мужик в остроконечном суконном колпаке лениво помахивал кнутом, не глядя на своего тощего, покрытого язвами битюга. Его спина, огромная, как скала, была повернута к Николаю стеной безразличия.

Вот, обогнав его, прошла группа пеших людей – двое мужчин и женщина. Их одежда, такая же грубая и практичная, как у тех, кого видел в деревне, была покрыта слоем дорожной пыли, превратившей её в единый, серо-коричневый фон. На их плечах висели котомки, а в глазах читалась усталая, привычная покорность долговому пути. Они бросили на незнакомца короткий, оценивающий взгляд – молод, крепок, один – и, не обнаружив ничего интересного или опасного, продолжили лениво переговариваться между собой.

А вот, позвякивая металлом и отбивая чёткий, неумолимый ритм, промаршировали солдаты. Нестройная на первый взгляд, но пронизанная внутренней дисциплиной колонна. Синие мундиры, потрёпанные и выцветшие на плечах от ремней мушкетов, чёрные гетры, лихо закрученные усы. Шли, не глядя по сторонам, их лица были отрешёнными и суровыми. От них пахло потом, порохом и железом. Этот запах, знакомый и чуждый одновременно, вызвал в желудке странный спазм – не страх, а некое смутное узнавание, отголосок той жизни, которую ещё не прожил, но которая, как чувствовал, ждала где-то впереди.

И он шёл среди них. Влился в этот медленный, непрерывный поток. Стал каплей в этой реке, пылинкой в этом вихре. И в этом была своя, особая свобода. Пока он двигался, мог наблюдать. И наблюдал с жадностью утопающего, хватающегося за соломинку.

Первым делом начал копировать. Заметил, как один из путников, чтобы дать отдых уставшим ногам, переобулся в грубые, но мягкие туфли, висевшие у него на плече, а свои сапоги заткнул за пояс. Через полчаса, когда собственные ноги начали гореть огнём, нашёл подходящую палку, сел на обочине и, сделав вид, что поправляет несуществующую занозу, тоже снял свою неудобную обувь, дав стопам передышку.

Следил за тем, как люди пьют из своих кожаных фляг или прямо из ручья, припав на корточки, – и повторял их движения, стараясь, чтобы это выглядело естественно. Наблюдал, как едят на привале – не спеша, почти ритуально, разламывая тот же чёрный хлеб и заедая его луком или куском сала. У него не было ни лука, ни сала, но, отойдя в сторонку, тоже присел и сделал вид, что ест, чтобы не привлекать внимания своим голодным, волчьим взглядом.

Но главным занятием, настоящей работой, стало слушание. Сначала это был просто шум, какофония гортанных, грубых звуков, перемешанных со скрипом телег, ржанием лошадей и криками возниц. Но постепенно, словно сквозь помехи, слух начал выхватывать отдельные слова, обрывки фраз. Мозг, отчаянно цепляясь за обрывки немецкого, услышанного в детстве, начал производить титаническую работу по декодированию.

Речь вокруг была густой, налитой соками земли, как неочищенный самогон. Звуки «р» произносились картаво, почти по-французски, гласные растягивались, многие слова были незнакомы. Но сквозь эту пелену начали проступать знакомые очертания.

«...zu langsam...» (...слишком медленно...) – буркнул один из солдат, сплёвывая пыльную дорожную слюну.

«...der Wirt...das Bier...» (...хозяин... пиво...) – мечтательно сказал другой, и Николай почувствовал, как его собственное пересохшее горло сжалось в ответ.

«...in Königsberg...» – донеслось из разговора двух торгового вида мужчин, и это слово, «Кёнигсберг», прозвучало как удар грома в тишине его собственного смятения.

Оно зацепилось в сознании, будто крючком. Не потому, что было родным, а потому, что было понятным. Единственным географическим названием за все эти безумные дни, которое можно было поместить на карту в своей голове. Карту, нарисованную школьными уроками истории и чтением различных энциклопедий.

Но облегчения не было. Была новая волна ледяного ужаса, потому что название было неправильным. Нет, не неправильным – устаревшим. Оно было как запах из глубокого подвала: знакомый, но несущий память о чём-то давно минувшем, законченном. Кёнигсберг. Город-крепость. Логово немецкого милитаризма. Тот самый, который в 1945 году пал под ударами Красной Армии и стал советским Калининградом.

И этот факт, вбитый в сознание, вступил в чудовищное противоречие с тем, что он видел вокруг.

Николай окинул взглядом свою «спутницу» – колонну солдат.

Улика первая: униформа.

Это были мушкетёры или гренадёры в синих, до черноты, кафтанах с алыми обшлагами. На головах – треуголки или те самые уродливо-высокие медвежьи шапки, которые он видел только на гравюрах в книгах про «войны прошлого». Эти мундиры кричали о другом столетии. О восемнадцатом.

Улика вторая: вооружение.

Длинные, неуклюжие ружья с кремнёвыми замками. Те самые «фузеи», из которых стреляли, поднимая целый лес штыков.

Улика третья: атмосфера.

Николай слышал обрывки разговоров. И теперь, с новым знанием – «Кёнигсберг» – они обрели адрес и смысл. «...король торопит...», «...силезские дела не ждут...», «...австрийцы спят...». Король. Силезия. Австрия.

В памяти, в тех самых «задворках сознания пенсионера-историка-любителя», начался срочный розыск. Кёнигсберг. XVIII век. Прусская армия. Король. Силезия.

Обрывки всплывали, как обломки корабля: «...дерзкий захват...», «...Фридрих II...», «...самое начало правления...», «...Война за австрийское наследство...».

Это не было точным воспоминанием даты. Это была реконструкция по косвенным признакам. Как если бы археолог, найдя черепок римской амфоры и монету с профилем императора, сказал: «Это ранняя Империя, период Августа».

И внутренний голос, холодный и чёткий, поставил диагноз: Я нахожусь в Восточной Пруссии. В Кёнигсберге или около него. Идут 1740-е года. Молодой король Фридрих только что вступил на престол и готовится к вероломному вторжению в Силезию. Начинается та самая война.

Он понял это не потому, что «вспомнил Калининград». А потому, что был советским человеком, для которого Кёнигсберг был символом поверженного врага, и это клише столкнулось с неопровержимыми вещественными доказательствами другой, гораздо более старой эпохи. Книжные знания, наложенные на эти доказательства, дали единственно логичный ответ.

Год? Это было неважно. Важно было то, что теперь ужас обрёл конкретные очертания. Николай был на самой стартовой линии одной из самых циничных и блестящих военных авантур в истории.

И с этим осознанием в нём родилось нечто новое. Обострённое, почти сверхъестественное внимание. Уже не просто слушал – впитывал. Ловил интонации, пытался уловить смысл незнакомых слов из контекста. Заметил, что солдаты говорят более отрывисто, с командным тоном, а крестьяне – более протяжно, в их речи было больше диалектных, искажённых слов. Услышал, как один из возниц назвал другого «du», а того, что был побогаче, – «Ihr». Местоимения. Обращения. Это была не просто грамматика, это была карта социальных отношений, и он отчаянно пытался её прочесть.

Стал замечать мельчайшие детали, которые раньше ускользали от взгляда, замутнённого паникой. Как именно завязан шнур на гетрах у солдата. Как торговец поправляет свой парик, сбитый ветром, особым, щеголеватым жестом. Как возница особым узлом перевязывает развязавшуюся верёвку на поклаже. Как женщина, не прерывая шага, ловко подбирает подол юбки, переходя через лужу. Каждая такая деталь была кирпичиком в стене его новой личности. Чтобы выжить, предстояло не просто выучить язык. Предстояло стать своим. Слиться с этой толпой. Превратиться из пылинки в часть самого потока.

К вечеру снова начал мучить голод. Хлеб, подаренный старухой, давно превратился в энергию, растраченную на долгую дорогу. Но теперь голод был не всепоглощающим животным ужасом, а стратегической задачей. Видел, как другие путники доставали припасы, и знал, что нужно найти способ добыть еду. Не подаяннем, а трудом. Обменом. Или хитростью.

Впереди, на развилке дорог, увидел то, что видели, наверное, все усталые путники – дымок, но на этот раз не деревенский, а более концентрированный, и вывеску, качающуюся на покосившемся столбе. На грубо сколоченной, облупившейся доске был нарисован неумелой рукой золотистый лев, отдалённо напоминающий истощённую собаку. Не смог прочесть потрескавшуюся готическую вязь под рисунком, но догадался: корчма. Постоялый двор. Место, где можно было найти не только кров, но и работу, и слухи, и, возможно, следующий шаг в этой чудовищной игре под названием «новая жизнь».

Остановился на краю дороги, давая пройти группе солдат. Был всё так же грязен, голоден и одинок. Но что-то внутри изменилось за этот день. Взгляд, прежде безумный и растерянный, теперь стал внимательным и собранным. В позе исчезла паническая скованность, появилась осторожная, но твёрдая готовность. Николай больше не был просто жертвой обстоятельств. Став разведчиком на вражеской территории. Учеником, попавшим в суровую, но настоящую школу жизни.

Сделав глубокий вдох, пропахший пылью, навозом и дымом из трубы корчмы, Николай твёрдо ступил на ту дорогу, что вела к «Золотому льву». Не зная, что ждёт его за порогом. Но понимая, что назад пути нет. Впереди была только эта дорога, уходящая в туманное, пугающее будущее, которое когда-то было далёким прошлым.

Глава 15: Легенда для чужака

К корчме решил сразу не идти. Инстинкт, отточенный за день наблюдений, шептал, что входить в логово, полное чужих глаз и ушей, в состоянии полной внутренней разбалансировки – чистое самоубийство. Вместо этого молодой человек, сделав вид, что поправляет портянку, свернул с дороги и углубился в заросли ивняка, скрывающие его от любопытных взглядов. Ручей, что весело журчал неподалёку от «Золотого льва», стал временным убежищем.

Спустившись по крутому глинистому откосу, беженец оказался в небольшом зелёном гроте, образованном сплетёнными ветвями ивы и клонящимися к воде осоками. Звуки с дороги доносились сюда приглушёнными, почти призрачными: отдалённый скрип телеги, обрывок чьего-то смеха, приглушённое ржание лошади. Здесь, в этом маленьком природном святилище, пахло влажной землёй, мятой и проточной водой. Путник рухнул на колени у самой кромки и, зачерпнув ладонями холодную, почти ледяную воду, стал жадно пить, зажмурившись от наслаждения. Вода была живой, она смывала с горла пыль и жар, по капле возвращая ясность мыслям.

Утолив жажду, он отполз под сень ивы и, наконец, позволил себе расслабиться. Всё тело ныло от усталости, ступни горели огнём, но сейчас это была приятная, заслуженная усталость. Он был жив. Напился воды. Нашёл место, где можно было купить еду и, возможно, ночлег. Это были не просто маленькие победы. Это были первые кирпичики, из которых можно было начать строить новое существование.

Но одного существования было мало. Нельзя было вечно оставаться безмолвным призраком на обочине, странным парнем, который пьёт из ручья и смотрит голодными глазами. История с мужиком у телеги ясно дала понять: его речь, акцент, сама суть – всё кричало о чужаке. А чужаков нигде не любили. Боялись. Могли побить, сдать властям или просто оставить умирать в канаве. Ему нужна была легенда. Простая, как гвоздь, и правдоподобная, как этот ручей. Убедительная биография, которая объяснила бы странности и давала право на место под солнцем.

Сидя, прислонившись спиной к шершавому стволу, он смотрел, как вода бежит по камням, унося с собой пузырьки воздуха и листья. Его прошлое, настоящая жизнь, была таким же пузырьком – лопнула, исчезла, и от неё не осталось и следа. Теперь предстояло создать новую. С нуля. Из ничего.

Начал с имени. «Николай» звучало слишком славянским, слишком чуждым для этого германоязычного пространства. В уме перебирались имена, услышанные от родителей, мелькавшие в старых документах. «Николаус». Да. Николаус. Оно было близко к собственному, но уже не резало слух. Николаус. Несколько раз произнёс шёпотом, привыкая к звучанию. Теперь нужно придумать происхождение.

Нельзя было назвать соседнюю деревню – тут же раскусили бы. Нельзя было сказать, что местный – акцент и незнание элементарных вещей выдавали с потрохами. Нужно быть откуда-то издалека. Очень издалека. Чтобы никто не мог проверить. Католические земли... Юг... Бавария? Австеррайх? Знания по географии Европы XVIII века были смутными, но он помнил о множестве мелких княжеств, епископств, где говорили на своих диалектах. Идеально. Он будет Николаусом. Сиротой. Из далёких католических земель. Семья... семья погибла. От чего? Чума? Оспа? Пожары были частым гостем. Да, пожар. Просто и трагично. «Meine Familie... das Feuer...» (Моя семья... огонь...). Мысленно произнёс фразу, стараясь вложить в неё дрожь голода и отчаяния, которые и так уже были в голосе.

Но одного горя мало. Нужна была причина, почему у него нет бумаг – а их наверняка требовали в этом жестком, милитаризованном государстве. Пожар – идеальное оправдание. Все документы сгорели. Он не бродяга, а жертва. Возможно, это сработает и защитит от немедленной высылки или ареста за бродяжничество.

Но и этого казалось недостаточно. Требовались детали. Почему он здесь, в Пруссии? Беженец. Бегущий от войны или её предвестия. Ищущий работы. Молодой, сильный парень, готовый на любую работу. Такая легенда делала его не подозрительным бродягой, а жертвой обстоятельств, достойной жалости. Жалость была инструментом, возможно, единственным, что у него оставался.

И тогда началась репетиция. Тихо, шёпотом, обращаясь к стрекозе, застывшей на тростинке, к собственному отражению в воде.

– Ich heiße Nikolaus. (Меня зовут Николаус.)

Старался говорить медленнее, грубее, коверкая звуки, подражая той гортанной речи, что слышал на дороге. Собственный немецкий, доставшийся от отца с дедом, был слишком «книжным», чистым.

– Meine Familie ist tot. Das Feuer. (Моя семья мертва. Огонь.)

Замолкал, вглядываясь в своё отражение. Глаза, слишком старые для этого молодого лица, смотрели на него с немим вопросом. Он представлял себе тот самый пожар. Языки пламени, пожирающие бревенчатую хату, крики, запах гари. Должен был поверить в эту историю сам, чтобы в неё поверили другие.

– Ich bin allein. Ich suche Arbeit. Für Essen. (Я один. Я ищу работу. За еду.)

Это было ключевое предложение. Оно должно было звучать не как просьба, а как констатация факта. Как предложение выгодной сделки. Он сильный, голоден, будет работать за миску супа. В этом мире, полном тяжёлого труда, такое предложение могли принять.

Вспомнил вдруг не отца, а деда – старого, сурового немца-колониста, чья речь была густой, как кисель, и усыпана странными, не книжными словечками. «Häuschen» вместо «Haus» (домишко), «Fräulein» в старом значении «барышня», «Gott bewahre!» (Боже упаси!). Вплетал их в свою речь, стараясь сделать её аутентичной, деревенской. В каждом предложении произносил снова и снова, меняя интонацию, пока оно не начинало звучать естественно, пока действительно не начинал чувствовать себя этим Николаусом – несчастным сиротой, занесённым судьбой в прусские земли.

Это был странный, почти шизофренический акт саморазрушения и созидания. Он стирал себя, Николая Гептинга, семидесятилетнего пенсионера из Розовки, и по кирпичику строил на его месте нового человека. Николауса. Без прошлого, без корней, с единственным багажом – трагедией и голодом.

Солнце уже клонилось к закату, окрашивая воду в ручье в золотисто-багряные тона. Тени становились длинными и зловещими. Пора было действовать. Сидя здесь, в безопасности, ничего бы он не добился. Впереди ждала корчма. Ждало первое настоящее испытание его легенды.

Поднялся, отряхивая с колен прилипшие травинки. Его лицо, ещё недавно помятое и потерянное, теперь выражало сосредоточенную решимость. Выйдя из своего укрытия, снова ступил на дорогу. Теперь он был не просто безымянным путником. Он – Николаус. У него была история. Трагическая и простая. И он был готов её рассказать.

Идя к «Золотому льву», с каждым шагом походка становилась увереннее. Он уже не боялся встречных взглядов. Смотрел на мир глазами своей новой личности – глазами человека, у которого ничего нет, кроме силы в руках и воли к жизни. Голод, терзавший его, был теперь не врагом, а союзником – он придавал правдоподобия легенде.

Деревянный лев на вывеске в лучах заходящего солнца казался теперь не уродливым, а почти героическим символом. За этой дверью ждал суд. Суд языка, обычаев, человеческой подозрительности. Но теперь у него было оружие. Хлипкое, самодельное, но оружие.

Сделав последний, самый глубокий вдох, он натянул на лицо маску смиренной усталости и толкнул тяжёлую, окованную железом дверь, переступив порог. Его встретила волна густого,

горячего воздуха, пахнувшего кислым пивом, луком, дымом и потом. И десятки глаз, повернувшихся к новой добыче, новому зрелищу, новому подозрительному типу в дверях.

Игру начинал Николаус.

Глава 16: Цена миски супа

Дверь захлопнулась за его спиной с глухим, окончательным стуком, отсекая от последних призраков уходящего дня, от свободы, пусть и убогой, но всё же свободы дороги. Теперь молодой человек был в ловушке, которая называлась «У Золотого льва».

Воздух внутри был густым, почти осязаемым. Он состоял из слоев: нижний, самый тяжёлый – запах прокисшего пива, лукового супа и влажной, пропитанной десятилетиями щёлочи древесины пола; средний – едкий дух дешёвого табака, выкуриваемого из глиняных трубок; и верхний, плавающий под закопченными потолочными балками, – звонкий аромат жареного сала и человеческого пота. Этот воздух не вдыхали – его ели, им давились, он лип к коже, въедался в одежду, становился частью тебя.

Николаус замер на пороге, давая глазам привыкнуть к полумраку, разрываемому лишь трепетным светом очага да парой сальных свечей, вкопанных в грубые деревянные столы. Корчма была полна. У стены, под развешанными сковородами и пучками сушеных трав, грелась компания солдат, их мундиры казались в сумраке пятнами запёкшейся крови. Вояки играли в кости, и металлический стук кубиков о столешницу был похож на стук казематных дверей. Ближе к центру сидели крестьяне, их сгорбленные спины рассказывали целые саги о тяжести труда. В углу, отрешённо попивая из глиняных кружек, сидели двое путников, завернутые в плащи, их лица были скрыты тенью.

И все они, как по команде, на секунду прервали свои занятия и уставились на вошедшего. Десятки взглядов, блестящих в полутьме, как глаза ночных зверей, выхватывали его фигуру из мрака. Парень чувствовал их на своей грязной рубаше, спутанных волосах, пыльных башмаках. Новоприбывший был чужим, нарушившим устоявшийся, пропахший пивом и потом мирок.

За стойкой, представляющей собой просто толстый дубовый пласт, брошенный на две бочки, стоял тот, кто, без сомнения, был хозяином этого заведения. Человек-глыба, человек-утёс. Его плечи были столь же массивны, как крепкие стволы, из которых был срублен сам постоялый двор. Лицо, обветренное и красное, с сетью лопнувших капилляров на щеках и носу, напоминало старую, потрескавшуюся от непогоды кожаную сумку. Из-под нависших, седых бровей на Николауса смотрели два крошечных, свиних, недоверчивых глаза. Этот человек был не просто хозяином – он был богом-олимпийцем в своём маленьком, душном царстве, и без слов давал понять, что новоприбывший должен либо доказать своё право находиться здесь, либо быть изгнанным.

Сердце забило где-то в горле, сухо и часто. Это был момент истины. Легенда, так тщательно выстроенная у ручья, сейчас должна была пройти проверку огнём, пивом и человеческой подозрительностью. Беженец сделал шаг вперёд, и башмаки зашлёпали по липкому, пропитанному годами пролитых напитков полу. Он почувствовал, как все взгляды следуют за ним, словно привязанные на невидимой нити.

Подойдя к стойке, Николаус старался держать спину прямо, но не вызываясь. Хозяин молча наблюдал за ним, вытирая кружку грязной тряпкой. Его молчание было страшнее любых слов.

Николаус сделал глубокий вдох, набрав в лёгкие тот самый густой, многослойный воздух, и начал. Говорил медленно, с усилием, вставляя те архаичные обороты, которые репетировал, и стараясь придать голосу дрожь истощения и покорности судьбе.

– Entschuldigung... der Herr... (Извините... господин...), – начал он, и его голос прозвучал хрипло и чуждо в этом пространстве.

Хозяин не шелохнулся, лишь его глазки сузились ещё больше.

– Ich heiße Nikolaus... (Меня зовут Николаус...), – продолжил путник, чувствуя, как капли пота выступают у него на лбу. – Meine Familie... das Feuer... alles tot... (Моя семья...

огонь... все мертвы...). – Он не пытался изображать истерику, просто констатировал, глядя куда-то мимо плеча хозяина, в тёмный угол. – Ich bin allein. Ich suche Arbeit. Für eine Schüssel Suppe. Für eine Nacht im Stall. (Я один. Я ищу работу. За миску супа. За ночь в сарае).

Он замолчал, опустил голову, как бы ожидая приговора. Ладони были влажными. Чувствовалось, как напряжены мышцы спины, готовые в любой момент получить удар. Тишина, повисшая между ними, была оглушительной. Даже солдаты на мгновение замолчали, прислушиваясь.

Хозяин, не отрывая от посетителя своего свиного взгляда, медленно, с театральной паузой, поставил кружку на стойку. Звук гулко отозвался в тишине. Его губы шевельнулись, и он изрёк что-то низкое, хриплое, как скрип несмазанной телеги. Речь была грубой, густой, многие слова сливались воедино. Николаус напрягся, ловя знакомые звуки.

– Woher... kommst... Junge? (Откуда... ты... парень?). – Понял не всё, но суть вопроса – происхождение – была ясна.

Это был ключевой вопрос. Николаус поднял на хозяина взгляд. Мысленно перебирая заученные фразы, выдохнул:

– Aus dem Süden... Katholische Lande... (С юга... Католические земли...). – И, помня о своей легенде про дальние края, добавил, растягивая гласные, как это делали крестьяне на дороге. – Weit. Sehr weit. (Далеко. Очень далеко).

Хозяин фыркнул, и из его ноздрей вырвалось два облачка пара.

– Hört sich an. (Так и слышится), – буркнул тот, явно намекая на акцент. Вышел из-за стойки, и его тень накрыла юношу, как погребальный саван. Трактирщик был ещё массивнее вблизи. Не спеша обойдя парня кругом, оценивающе оглядывая с ног до головы, как барышник осматривает лошадь на ярмарке.

– Kräftig... (Крепкий...), – проворчал он про себя, хлопнув ладонью по плечу парня так, что тот едва устоял. Затем внезапно ткнул толстым, как сосиска, пальцем в грудь Николауса и выпалил следующее. Речь хозяина была быстрой, усыпанной непонятными словами, но ядро фразы уловить удалось:

– ...sprichst wie Schulmeister? Hast gelernt? (...говоришь как школьный учитель? Учился?).

Молодой человек внутренне сжался. Это была опасность. Его речь, несмотря на все усилия, выдавала человека если не образованного, то явно не простого крестьянина. Мозг лихорадочно искал простой ответ из репертуара его легенды. Он пробормотал, намеренно коверкая звуки, будто с трудом подбирая слова:

– Mein Vater... konnte lesen... hat beigebracht... ein bisschen... (Мой отец... умел читать... научил... немного...). Вложил в слова покорную грусть и тут же опустил взгляд, как бы стыдясь этого крохотного знания.

Хозяин, кажется, купился. Хмыкнул и, повернувшись к нему лицом, скрестил на огромной груди руки.

– Also gut. Arbeit, (Ну ладно. Работа), – изрёк он, и затем обрушил на Николауса поток быстрых, отрывистых указаний, щедро одобренных местными словечками. Тот ловил знакомые существительные, из которых складывалась чудовищная картина: – Abort... verstopft... Kübel... (Отхожее место... засорено... вёдра...), – а потом: – Steinboden... schrubbst... (Каменный пол... отдраишь...). – Общий смысл был ясен, даже если половина сказанного пролетела мимо ушей.

Николаус лишь кивнул, чувствуя, как волна облегчения смешивается с приступом тошноты от поставленной задачи. Отхожее место. Думал ли он когда-нибудь, что его первая работа в новом мире будет заключаться в этом?

– Suppe und Stall... danach, (Суп и сарай... после), – жестко добавил хозяин, тыча пальцем ему в лицо, чтобы убедиться, что понято самое главное. – Nur wenn ich zufrieden bin.

Verstanden? (Только если я буду доволен. Понял?). Это «понял?» прозвучало как последнее предупреждение.

И он, развернувшись, грузно направился обратно за стойку, к своим кружкам. Аудитория, состоявшая из солдат и крестьян, потеряла к пришельцу интерес. Представление закончилось. Чужака приняли на испытательный срок. Теперь он был частью интерьера, пока не докажет обратного.

Работа в отхожем месте стала для молодого человека настоящим чистилищем. Запах, стоявший там, был на несколько порядков выше того, что царил в корчме, и бил в нос едкой, физической волной. Работал, стиснув зубы, подавляя рвотные спазмы, с головой окунаясь в самые низменные, телесные аспекты этого бытия. Вычёрпывал нечистоты деревянными вёдрами, относил их в выгребную яму, засыпал известью. Это было унижительно, отвратительно, но это была плата. Плата за существование.

Затем, уже в сумерках, взял щётку, песок и воду и принялся за пол в самой корчме. Стоя на коленях, он скрёб, слой за слоем снимая застарелую грязь. Этот монотонный, почти медитативный труд парадоксальным образом успокаивал. С каждым движением щётки стирался не только грязный камень, но и последние следы паники, остатки растерянности и жалости к себе. Боль в мышцах была ясной и честной. Тут не было места сомнениям о XVIII веке – был скользкий пол, песок под ногтями и простая, животная цель: выжить, заработав миску супа.

Мышцы на руках и спине заныли от напряжения, а в глазах зарябило от однообразного движения. Чувствовал на себе взгляды, слышал смешки и откровенные комментарии, доносившиеся со стола солдат. Слова были не все понятны, но ядовитый тон, насмешливый хохот и обращение «Schulmeister!» долетали чётко. Николаус лишь прижался щёткой к указанному кем-то месту, не поднимая головы. Теперь он был не просто чужим. А был низшим, и это давало всем остальным чувство превосходства и право на насмешку. В этой жестокости была своя, уродливая стабильность.

Когда он закончил, было уже глубоко за полночь. Последние посетители разошлись, и в корчме остались лишь он, хозяин и догорающий очаг. Николаус стоял, опёршись на щётку, весь в мыле и грязи, дрожа от усталости.

Хозяин, молча наблюдавший за ним последний час, медленно подошёл, окинул взглядом отдраенный до бледного песчаного оттенка камень пола и... кивнул. Всего один раз. Сухо.

– Komm, (Иди), – сказал он и повёл его в подсобку.

Там, на грубом столе, стояла миска. Большая, глиняная миска, из которой поднимался слабый пар. Внутри плескалась густая, мутная жидкость с плавающими в ней кусками репы, лука и несколькими кружками жирной колбасы. Это была похлёбка. Простая, бедная, но самая прекрасная еда, которую он когда-либо видел в своей жизни.

Ел её, сидя на полу у потухшей печи, загребая гущу деревянной ложкой, не чувствуя вкуса, лишь ощущая, как тепло и сытость растекаются по измождённому телу. Каждый глоток был победой. Каждый кусок – триумфом.

После еды хозяин молча указал на дверь, ведущую во двор. В сарае, пахнущем сеном и навозом, он свалился в углу на груды старых мешков и почти мгновенно провалился в сон, тяжёлый, как каменная глыба, но без кошмаров. Был сыт. Над головой была крыша.

Заплатил за это своим трудом, своим унижением, своей старой идентичностью. Но это была справедливая цена. Первая из многих. Лежа в темноте, под храп какой-то скотины, последней мыслью мелькнуло, что Николаус – не такая уж и плохая роль. У этого нового человека было будущее. Следующий день. И это было всё, что теперь имело значение.

Глава 17: Язык врага и друга

Просыпался Николаус от крика петуха – дерзкого, пронзительного, разрывающего предрассветную мглу на клочья. Секунды растерянности, когда сознание, зацепившись за обрывки снов о другой жизни, пыталось вернуться в привычное русло, сменялись тяжёлым, как удар гири, осознанием реальности. Пахло сеном, навозом и влажным деревом. Тело, молодое и сильное, но непривыкшее к вчерашнему каторжному труду, ныло и гудело, каждая мышца заявляла о себе ноющей болью. Но под этой физической оболочкой, под дискомфортом, шевелилось нечто новое – не радость, нет, но горькое, выстраданное удовлетворение. Он пережил день. Заработал еду и кров. Это был фундамент, на котором можно было стоять.

День начинался ещё до того, как первые солнечные лучи, робкие и холодные, пробивались сквозь щели сарая. Хозяин, чьё имя путник ещё не знал, оказался существом режима и порядка, столь же неуклонного, как смена дня и ночи. Работа была его религией, а лень – смертным грехом. Николауса будил грубый окрик со двора, и молодой человек, как заводная кукла, принимался за свои обязанности.

Сначала – вода. Бесконечные носилки с водой из колодца. Тяжёлые, обвязанные верёвками вёдра, которые оттягивали руки и заставляли спину гореть огнём. Вода для кухни, для питья, для мытья посуды. Потом – дрова. Гора поленьев, которую нужно было перетаскать и нарубить. Тупая, монотонная работа, не требующая мысли, лишь силы и выносливости. Затем – чистка медных котлов и сковородок от въевшегося жира и нагара. Он скоблил их песком и золой, пока пальцы не сводила судорога, а перед глазами не стояла серая пелена усталости.

Но в этой каторжной рутине беженец нашёл свою стратегию, свою маленькую, тихую войну за место в этом мире. Он стал «невидимкой». Научился двигаться быстро и бесшумно, не привлекать к себе внимания, сливаться с интерьером – со стенами, бочками, тенями в уголках. Он опускал взгляд, когда на него смотрели, сутулил плечи, делаясь меньше, незначительнее. И в этой роли слуги, мебели, части хозяйственного инвентаря, юноша получил уникальную возможность – слушать.

Корчма «У Золотого льва» была для него не просто местом работы. Она была лингвистическим университетом, живой лабораторией языка. И преподаватели в ней были суровыми и не знающими пощады.

Солдаты у стены были кафедрой военного дела и грубого юмора. Их речь – отрывистая, рубленая, усыпанная непонятными пока армейскими терминами и сальными шутками. Моя пол под их столом, затаив дыхание, ловил обрывки фраз: «...der König...» (король), «...Österreich...» (Австрия), «...Marsch...» (марш), «...Kanonen...» (пушки). Слова, как гвозди, вбивались в память. Слышал названия городов, имена офицеров, проклятия, которые они швыряли друг в друга. Учился не только словам, но и интонации – тому, как можно одним гортанным восклицанием выразить и презрение, и одобрение, и угрозу.

Крестьяне, приходившие вечерами пропустить кружку-другую горького пива, были носителями языка земли. Их речь была медлительной, вязкой, как патока. Они коверкали слова, говорили «Appel» вместо «Apfel» (яблоко), а их «г» звучало так, будто они полоскали горло. Их язык был полон диалектизмов, простым и конкретным, привязанным к вещам, которые можно потрогать, увидеть, съесть. «Pflug» (плуг), «Acker» (поле), «Korn» (зерно), «Schwein» (свинья). Николаус, разнося им еду или убирая пустые кружки, мысленно повторял эти слова, связывая их с образами.

И был ещё один преподаватель, самый важный и неожиданный. Служанка Грета. Немолодая уже женщина, с лицом, испещрённым морщинами, как картой всей её нелегкой жизни, и руками, красными от постоянной работы в воде. Именно она, видя его молчаливые, неуклюжие попытки что-то сделать, стала первым проводником.

Всё началось с малого. Однажды утром, когда Николаус пытался растолковать повару, немому от рождения громиле, что нужно ещё дров, тыча пальцем в печь и изображая рубящие движения, Грета, проходя мимо, спокойно сказала:

«Er braucht mehr Holz, Klaus.» (Ему нужно больше дров, Клаус).

И потом, повернувшись к Николаусу, медленно и четко повторила: «Holz. Das ist Holz.» (Дрова. Это – дрова).

Смотрел на неё, и в глазах, должно быть, вспыхнула такая искренняя, такая жадная благодарность, что она на мгновение смутилась. С той минуты между ними установилась странная, безмолвная договорённость.

Грета стала тайным благодетелем. Когда он, пытаясь попросить хлеба, произносил нечто невразумительное, она поправляла, не глядя, будто между делом: «Nicht «Brod». «Das Brot».» (Не «Хлеп». «Хлеб»). Она указывала на предметы и называла их: «Tisch» (стол), «Bank» (скамья), «Messer» (нож), «Löffel» (ложка). Учила простейшим фразам: «Gib mir das» (Дай мне это), «Ich verstehe nicht» (Я не понимаю), «Danke» (Спасибо).

Её мотивация была простой и человеческой. Женщина видела в нём не чужака, а «armen stummen Tropf» – бедного немого недотёпу, сироту, которого жизнь и судьба обидели больше, чем её саму. Человеческая жалость была той питательной средой, в которой проросли первые ростки его нового языка. Подкармливала тайком – то краюхой хлеба, то миской похлёбки пожирнее, скупя при этом:

– Du bist nur Haut und Knochen, Junge... (Ты только кожа да кости, парень...).

И он учился. День за днём. Сначала это были отдельные слова, которые он, как попугай, повторял про себя, выполняя работу. Потом – короткие фразы. Мозг, отчаянно цепляясь за выживание, работал с невероятной скоростью. Начал понимать общий смысл разговоров, улавливать не отдельные слова, а целые блоки смысла. Язык переставал быть хаотичным шумом, начинал обретать структуру, логику, музыку.

Однажды вечером, когда Грета, кряхтя, тащила тяжёлый котёл с похлёбкой, он подошёл и, собравшись с духом, произнёс свою первую осмысленную, пусть и корявую, фразу:

– Lass... lass mich das tragen, Grete. (Дай... дай мне это понести, Грета).

Женщина остановилась, посмотрела на Николауса широко раскрытыми глазами. Потом на её усталом лице расплылась медленная, почти невесомая улыбка. Она была похожа на луч солнца, пробившийся сквозь трещину в сарае.

– Gott im Himmel! Du kannst ja sprechen! (Боже правый! Да ты можешь говорить!)

Это был первый настоящий успех. Не физическая победа над грудой дров или грязным полом, а победа интеллектуальная, духовная. Он совершил прорыв. Установил нормальную связь.

С того дня жизнь в корчме изменилась. Страх и отчуждение не исчезли полностью, но их гнетущую власть потеснило новое чувство – чувство ограниченной, убогой, но принадлежно-сти. Теперь он был уже не просто безмолвным призраком, а Николаусом, тем сиротой, который начал понемногу понимать и даже говорить. Солдаты, бывало, подтрунивали над его акцентом, но уже без былой злобы, скорее как над деревенским простаком. Однажды один даже бросил недоеденный кусок хлеба со словами:

– Für unseren gelehrigen Paragei! (Для нашего понятливого попугая!). – Это не была дружба, но и прямой враждой тоже не было. Он стал предсказуемым, а значит – менее опасным. Крестьяне иногда бросали короткие фразы, зная, что он, возможно, поймёт.

Лёжа вечером в сарае, Николаус уже не просто падал без чувств в сон. Он прокручивал в голове прошедший день, как драгоценные камни, перебирая новые слова, новые фразы, сценки, которые подглядел или подслушал. Язык перестал быть врагом. Он стал инструментом, ключом, мостом. И на том конце моста стояла старая, усталая служанка Грета, его первый и пока единственный друг в этом жестоком, старом мире. Он ещё не мог выразить этой

благодарности словами, которые она поняла бы. Но в сердце, сжатом в комок страха и одиночества, шевельнулась первая, робкая теплота. Прогресс был мучительно медленным. Но он был. И это значило, что он не просто выживал, отрабатывая миску супа. Но учился жить. И язык, который был врагом и стеной, теперь стал самым ценным инструментом в этой новой, незнакомой жизни.

Глава 18: Слухи о короле

Воздух в корчме «У Золотого льва» сгустился с каждым днём, превращаясь из привычной, унылой взвеси пивных паров и человеческих испарений в нечто тревожное, заряженное, как атмосфера перед ударом молнии. Николаус, ставший за недели своей службы идеальным слушателем, улавливал это изменение на клеточном уровне. Оно было не в словах, которые он уже начал понимать обрывками, а в самой ткани звуков – в приглушённости одних разговоров и резкой, истеричной громкости других, в том, как люди теперь садились за столы, сдвигая скамьи не с ленивым скрипом, а с коротким, сердитым ударом, в том, как пальцы сжимали кружки, не для наслаждения, а словно пытаясь выдавить из глины ответ на невысказанный вопрос.

Война. Это слово ещё не произносилось вслух с трибун и не красовалось на официальных указах, расклеенных на церковных дверях. Но она уже начиналась здесь, в этой душной, пропахшей щами и табаком корчме. Она начиналась со слухов.

Николаус, протиравший в этот вечер бесконечные ряды полок за стойкой, застыл с тряпкой в руке, его тело напряглось, как струна. У стола под самым очагом, где обычно собирались заезжие торговцы и мелкие коммивояжеры, сидели двое мужчин, чей вид резко контрастировал с местными крестьянами. Один, тучный, с лицом заправского бургера и цепочкой для часов на жилете, жестикулировал, разбрызгивая пиво. Другой, тощий, с лицом ищейки и пронзительными глазами, слушал, наклонив голову, и его пальцы нервно перебирали крошки на столе.

– ...говорят, наш молодой орёл в Потсдаме рвёт с неба чужие перья! – выдохнул тучный, понижая голос до драматического шёпота, который, однако, был прекрасно слышен в внезапно наступившей тишине. – Горячая кровь, не то что старый король... Он не станет терпеть, как его отец...

– Король... – прошептал тощий, и слово это прозвучало как заклинание, как имя божества, чья воля способна перемолоть в пыль тысячи судеб.

Николаус замер, не смея дышать. Его мозг, уже научившийся выхватывать знакомые корни из незнакомых слов, лихорадочно работал. «König» – король. Он знал это слово. «Vater» – отец. «Jung» – молодой. Обрывки складывались в картину. Молодой король. Фридрих. В памяти человека из будущего, всплывали смутные образы: строгий профиль, треуголка, прозвище «Великий». И война. Война за австрийское наследство. Она была где-то тут, на пороге.

– Австрийская девица думает, что трон – её кружевная подушка... – продолжил торговец, и в его голосе прозвучало нечто среднее между осуждением и восхищением. – ...а наш Фриц... наш Фриц не из робкого десятка. Он смотрит на её самые жирные поля... на силезские нивы, как мясник на тушу откормленного быка.

– Силезия... – повторил тощий, и в его глазах вспыхнул алчный огонек. – Богатый край. Шахты. Ткачи. Тот, кто будет контролировать дороги...

Но беженец уже не слушал их. Его внимание переключилось на группу солдат в углу. Они не были такими шумными, как обычно. Сидели, сгрудившись, и говорили тихо, серьёзно. Один из них, сержант с шрамом через бровь, чертил что-то пальцем на мокром от пролитого пива столе.

– ...видел сам, в Кюстрине, – говорил сержант. – Новые партии. Зеленьё, свежее, как весенняя трава. Муштруют их до седьмого пота. И вербовщики... Чёрт возьми, вербовщики теперь как короли. Им платят за каждую голову. Талерами звенят.

Слово «вербовщик» – «Werber» – упало в сознание Николауса как раскалённый металл, оставив после себя болезненный, ясный след. Оно было связано с другим словом, которое молодой человек слышал всё чаще: «Sold» – жалованье, и «Taler» – талер, серебряная монета.

И тут же, как эхо, из другого угла, где сидели местные крестьяне, донеслось ворчание старого мужика с лицом, напоминающим высохшую грушу:

– Опять по дворам шныряют... Заглядывают в каждую нору, высматривают парней. В прошлый раз моего Йоста забрали, с Франции костей не прислали... А теперь опять. Говорят, платят. А что мне твои талеры, если сына в землю закопают?

Мозаика складывалась с пугающей скоростью. Молодой, амбициозный король. Напряжённость с Австрией. Богатая добыча – Силезия. И вербовщики, «щедро платящие» за крепких парней. Армия. Прусская армия Фридриха.

Юноша смотрел на своих нынешних хозяев. На хозяина корчмы, чья милость зависела от его настроения и чистоты полов. На Грету, чья жалость была безгранична, но бессильна перед суровой реальностью этого мира. Он был здесь рабом, в лучшем случае – слугой. В армии же мог стать солдатом. Пусть винтиком, пушечным мясом – но винтиком в великой машине, у которой была цель, порядок, структура.

Мысль эта была любопытной, знакомой, почти родной по форме, но пугающе чужой по своему содержанию. Где-то в глубине, под слоями голода и страха, отозвалась выправка, дисциплина, скелетная память о казарме. Армия. Он знал, что это такое: жёсткая иерархия, приказы, коллектив. Это был язык, который он понимал. Но другая, более холодная часть сознания тут же ставила смертельные различия. Это была не его армия. Не армия с уставами, политотделами, «уставными взаимоотношениями» и хотя бы призрачной заботой о бойце. Это была армия XVIII века. Прусская. Армия палок, шпицрутенгов и продажных вербовщиков. Армия, где солдат – расходный материал, а война – хладнокровный расчёт на карте, а не «священный долг». Он знал о ней лишь по книгам – «пушечное мясо», «палочная дисциплина», «Семилетняя война» с чудовищными потерями. Он собирался добровольно влезть в самое пекло того ада, о котором читал как об истории.

Но другая мысль, та самая, что вытащила из леса и заставила учить язык, нащёптывала жестко и безжалостно: у него нет выбора. Он не мог вечно мыть полы в корчме. Рано или поздно его странность, акцент, незнание местных обычаев привлекут ненужное внимание. Его могли принять за шпиона, за бродягу, за ведьмака – за кого угодно. А армия... армия, при всей своей чудовищности, была социальным лифтом для нищего и безродного. Она любила тех, у кого нет прошлого. Она сама становилась для таких прошлым, настоящим и будущим. И он, отслуживший срочную службу в Советской Армии, знал, как вписаться в систему, как стать незаметным винтиком. Только здесь этот винтик могли сломать не на учениях, а на каком-нибудь лугу у деревни Лейтен.

Внезапно дверь корчмы с грохотом распахнулась, и на пороге появилась фигура в промокшем до нитки плаще. Это был гонец, судя по его сумке через плечо и грязному, усталому лицу. Он смахнул дождь с лица, швырнул пару монет на стойку и хрипло потребовал пива. И пока он жадно пил, стоя у стойки, выдохнул всего одну фразу, обращённую, казалось, ко всем и ни к кому:

– Говорят, в Потсдаме король проводит смотр гвардии. Готовятся к походу.

В корчме на мгновение воцарилась мёртвая тишина. Даже солдаты перестали бросать кости. Потом все заговорили разом – громко, возбуждённо, испуганно. Призрак войны, бродивший по залу последние дни, наконец обрел плоть.

Николаус медленно выдохнул. Опустил тряпку в ведро с водой и посмотрел на свои руки – сильные, рабочие руки семнадцатилетнего юноши. Они дрожали. Это была не дрожь неопита, впервые столкнувшегося с мыслью о войне. Это была мелкая, знакомая дрожь солдата перед марш-броском, когда страх, адреналин и холодная решимость смешиваются в один коктейль. Только на этот раз марш-броском будет вся его оставшаяся жизнь.

План, смутный и пугающий, рождался голове. Он не будет ждать, пока вербовщики найдут его. А найдёт их сам. Эта война, чужая борьба за чужие земли, становилась его единствен-

ным шансом. Билетом в будущее. Пусть оно и будет полное крови, палок и бесправия. Но в будущее, где он, советский солдат в душе, мог применить свои единственные навыки выживания в системе. В военной системе.

Николаус поднял ведро и понёс обратно в подсобку. Его походка была твердой. Впервые за долгое время он знал, что ему делать дальше. Будет слушать, ждать. И при первой же возможности сделает шаг навстречу своей новой, страшной и единственной судьбе – судьбе солдата Пруссии.

Глава 19: Вербовщик

Прошло три дня. Три дня напряжённого ожидания, когда каждый скрип двери, каждый новый голос в корчме заставлял сердце Николауса сжиматься в комок. Он стал подобен хищнику, затаившемуся в засаде, все чувства которого обострены до предела, но чьё тело сохраняет видимость полного спокойствия. Мыл полы, таскал дрова, чистил котлы, а сам всё время был настороже, просеивая сквозь сито слуха обрывки разговоров, выискивая заветное слово – «вербовщик».

И вот, на четвёртый день, ближе к вечеру, это случилось.

Человек не вошел, а ворвался в пространство корчмы, словно пушечное ядро. Дверь отлетела с таким грохотом, что зазвенели кружки на полках. И сразу же, как по мановению волшебной палочки, гул голосов стих, сменившись настороженной, почти подобострастной тишиной.

Фигура, переступившая порог, была живым олицетворением той военной машины, о которой так много говорили. Невысокий, но приземистый и широкий в плечах, словно вытесанный из гранитного валуна, он замер на мгновение, давая всем себя рассмотреть. Его мундир – синий, с алыми отворотами и латунными пуговицами – сидел с идеальной, почти пугающей выправкой, подчёркивая каждую мышцу торса. На обветренном и жёстком, как старый башмак, лице красовался шрам – длинный, белый и кривой, пересекающий левую щёку от скулы до самого подбородка и придававший его и без того суровому облику откровенно бандитский вид. Но главное – глаза. Маленькие, светлые, холодные, как осколки янтаря, они медленно обвели зал, и под этим взглядом даже самые brave солдаты невольно опускали глаза или отводили их в сторону. Это был взгляд оценщика, привыкшего мерить человеческую плоть в талерах и пудах пушечного мяса.

На его пряжке ремня красовался орёл. Пруссский орёл. Хищная, распластанная птица, сжимающая в когтях меч и скипетр. Символ власти, дисциплины и насилия.

– Feldwebel Vogel..., – прошептал кто-то из темноты у стены с таким почтением и страхом, что стало ясно: это не просто имя, а титул и приговор в одном лице. Капрал. Вербовщик. Фогель – «Птица». Имя, идеально подходившее хищнику, сбивающему добычу для королевского гнезда.

Фогель не спеша прошёл к свободному столу в центре зала, отбрасывая на своем пути тень, которая, казалось, была тяжелее и плотнее его самого. Сапоги, покрытые дорожной пылью, стучали по каменному полу, отбивая ритм, не сулящий ничего хорошего. Он снял свою треугольную шляпу, швырнул её на стол и, не глядя, жестом, полным презрительного ожидания, потребовал пива. Хозяин, внезапно ставший юрким и подобострастным, сам понёс ему самую большую кружку.

Николаус в этот момент стоял на лестнице, протирая пыль с полок, до которых обычно никому не было дела. Его пальцы сжали тряпку так, что костяшки побелели. Вот он. Шанс. Воплощённый в виде этого жестокого, скалистого человека с глазами бухгалтера смерти. Теперь или никогда.

Он видел, как Фогель, отпив половину кружки залпом, поставил её на стол и тем же ледяным взглядом начал изучать мужскую часть заведения. Его взгляд скользнул по сторбленным спинам крестьян, по испитым лицам стариков, по фигурам солдат – он искал свежее мясо. И его взгляд, холодный и цепкий, на мгновение задержался на Николаусе. На его широких плечах, на крепких руках, обнажённых по локоть. Взгляд был быстрым, оценивающим, безразличным. Но он его заметил.

Сердце в груди юноши заколотилось, как птица в клетке. Слез с лестницы, ноги были ватными, но шаг, по памяти тела, выверенным и твёрдым, как когда-то на плацу. Чувствовал,

как на него смотрят десятки глаз. Грета, стоявшая у двери на кухню, смотрела с таким горьким, материнским пониманием, что Николаусу стало физически больно. Она едва заметно качала головой, и в этом движении было отчаяние женщины, провожающей на ту же дорогу слишком многих. Но он был глух к её предупреждениям.

Сделав глубокий вдох, в нос ударил запах пыли, пива и собственного страха, юноша медленно, но прямо направился к столу, за которым сидел Фогель. Каждый шаг отдавался в ушах громовым раскатом. Подошёл и замер, стараясь держать спину прямо, но не вызываясь.

Фогель поднял на него свои янтарные глаза. Молча. Выжидающе. Давление этого молчания было невыносимым.

– Herr Corporal... (Господин капрал...), – начал Николаус, и голос, к собственному удивлению, прозвучал достаточно твёрдо.

Фогель не ответил. Лишь медленно, с наслаждением отпил ещё глоток пива.

– Ich... ich möchte dienen. (Я... я хочу служить), – выдохнул молодой человек, вкладывая в эти слова всю свою решимость.

Только тогда вербовщик поставил кружку. Звук был оглушительным в тишине.

– So, (Так), – произнёс он. Его голос был низким, скрипучим, как ржавые петли. – Noch einer, der den Tod umarmen will. (Ещё один, желающий обнять смерть).

Он жестом велел Николаусу подойти ближе.

– Deine Legende. Schnell. Ich habe nicht den ganzen Tag. (Твоя легенда. Быстро. У меня нет целого дня).

И юноша начал. Говорил свою выученную, выстраданную историю. Николаус. Сирота. Католические земли. Пожар. Один. Ищет службы. Говорил медленно, подбирая слова, стараясь скрыть свой чужой акцент под маской просторечия и горя.

Фогель слушал, не перебивая, его лицо оставалось каменным. Когда Николаус закончил, вербовщик молча встал. Он был на голову ниже, но казался гигантом.

– Komm her, (Иди сюда), – бросил он и грубо схватил парня за плечо, повернув его к свету.

Начался осмотр. Унизительный, животный, стирающий последние следы человеческого достоинства. Фогель был как мясник на рынке.

Он сжал бицепсы парня своими мозолистыми пальцами, оценивая мускулатуру.

– Nicht schlecht, (Неплохо), – пробормотал он про себя.

Сгрёб его руки и заставил сжать кулаки, ощупывая костяшки.

– Harte Knochen. Gut. (Твёрдые кости. Хорошо).

Оттянул нижнее веко, заглядывая в глаза, словно проверяя лошадь на слепоту.

– Kein Fieber, (Нет лихорадки), – констатировал он.

Затем, без всякого предупреждения, грубо ткнул пальцем Николаусу в живот, чуть ниже рёбер, заставляя юношу вздрогнуть от неожиданности и боли.

– Die Milz. Gesund. (Селезёнка. Здорова).

Но самый унизительный момент был ещё впереди. Фогель, его лицо оставалось абсолютно бесстрастным, сжал челюсти парня своими пальцами, заставляя открыть рот.

– Zeig mir deine Zähne, Junge. (Покажи мне свои зубы, парень).

Николаус, краснея от стыда и бессильной ярости, подчинился. Стоя, разинув рот, пока этот человек изучал его зубы, словно жеребца на аукционе.

– Gut. Keine Fäulnis. Wirst harte Zwiebeln kaufen können. (Хорошо. Нет гнили. Сможешь жевать твёрдый лук).

Вербовщик отпустил юношу, и Николаус, чувствуя, как по щекам разливается жгучий стыд, отступил на шаг, с трудом переводя дыхание. Видя, как по залу пробежали сдержанные усмешки. Он был предметом. Вещью, оценённой в несколько возможных талеров вербовочной премии. И это было больнее, чем любая физическая боль.

И тогда Фогель задал свой самый опасный вопрос. Скрестил руки на груди и уставился своими холодными глазами.

– Du sprichst seltsam, Junge. Aber nicht wie ein Bauer. Wie ein verdammter Stadtschreiber. Warum? (Ты говоришь странно, парень. Но не как крестьянин. Как проклятый городской писец. Почему?)

Ловушка захлопнулась. Все смотрели на него. Тишина стала абсолютной. Даже пиво в кружках, казалось, перестало пузыриться.

И в этот момент в голове что-то щёлкнуло. Николаус не стал отрицать, юлить. Посмотрел прямо в глаза Фогелю и сказал то, что могло спасти или погубить. Вложив в свой голос не вымученную грусть, а гордую, оскорблённую горечь.

– Mein Vater... war von guter Familie. Bevor das Unglück kam. Er lehrte mich lesen. Jetzt ist es mir nichts wert. (Мой отец... был из хорошей семьи. До того, как пришла беда. Он учил меня читать. Теперь это ничего не стоит для меня).

Он не опустил глаза. Выдержал этот ледяной, пронизывающий взгляд. Николаус играл ва-банк, ставкой в которой была его жизнь.

Прошла вечность. Фогель не моргал. Потом уголок его рта, того, что не был искажён шрамом, дрогнул в подобии улыбки. Это было страшнее любой гримасы.

– Von guter Familie... (Из хорошей семьи...), – протянул он с насмешливым оттенком. – Das erklärt einiges. Die Manieren. Die Sprache. (Это кое-что объясняет. Манеры. Речь).

Он снова сел и отпил из кружки.

– Die Armee kann gebildete Männer gebrauchen. Zumindest solche, die lesen können. (Армия может использовать образованных людей. По крайней мере тех, кто умеет читать).

Николаус почувствовал, как камень свалился с его души. Он прошёл. Легенда выдержала проверку. Его унижение стало пропуском.

Фогель достал из-за пазухи маленький, засаленный блокнот и обмакнул перо в чернильницу.

– Also gut, Nikolaus. Wir werden dich auf die Probe stellen. (Ну что ж, Николаус. Мы испытываем тебя).

Решение было принято. Путь был выбран. Отступать было некуда.

Глава 20: Королевский талер

Слова Фогеля повисли в воздухе, тяжёлые и властные, как свинцовые печати на судебном приговоре. «Мы испытаем тебя». Эти слова не оставляли места для сомнений, для отступления. Они констатировали факт: его судьба была решена. Но формальности, эти странные, почти ритуальные действия, должны были быть соблюдены. Именно в них, как понял Николаус, и заключалась вся суть прусской военной машины – сначала ты добровольно отдаешь ей свою волю, а потом она уже владеет тобой полностью, по праву, скреплённому бумагой и металлом.

Вербовщик, не обращая больше на новоиспечённого рекрута внимания, как будто только что купил на ярмарке нового вола, снова уткнулся в свой засаленный блокнот. Его перо, острое и жадное, с противным скрипом побегало по желтоватой бумаге, выписывая закорючки, которые должны были навеки похоронить Николая Гептинга и родить солдата Николауса. Фогель что-то бормотал себе под нос, сверяясь с какими-то мысленными списками, изредка бросая на свою живую покупку короткие, цепкие взгляды, словно проверяя, не испарился ли она, не оказалась ли миражом.

Николаус стоял, не зная, что делать. Отойти? Остаться? Его тело, только что подвергнутое унизительному осмотру, всё ещё горело от стыда и ярости, но разум уже холодно анализировал ситуацию. Он сделал это. Перешёл Рубикон. Теперь позади оставался не только его старый мир, но и призрачная, убогая безопасность корчмы. Впереди была только армия. И этот человек с лицом палача и манерами бухгалтера был его Хароном, перевозчиком в тот ад, который он сам для себя избрал.

Время в корчме текло странно. С одной стороны, каждый мускул молодого человека, каждая нервная клетка кричали о том, что с момента его подхода к столу Фогеля прошла вечность. С другой – всё произошло стремительно, как удар кинжала. Гул голосов вокруг постепенно возобновился, но теперь в нём слышались иные ноты – любопытство, смешанное с брезгливой жалостью, а у некоторых солдат – с циничным одобрением. Он стал предметом обсуждения. Ещё не солдат, но уже и не гражданский. Нечто промежуточное, подвешенное между мирами.

И вот Фогель наконец отложил перо. Он с удовлетворением посмотрел на исписанный листок, сложил его с неожиданной аккуратностью и спрятал во внутренний карман мундира, рядом с тем местом, где, должно быть, билось каменное сердце. Затем его пальцы, толстые и цепкие, снова полезли в тот же карман и извлекли оттуда не бумагу, а нечто, сверкнувшее в слабом свете корчмы тусклым, но неоспоримо металлическим блеском.

Это была монета. Не та мелкая, потрёпанная медяшка, что платили за пиво, а солидный, тяжёлый серебряный кружок. Фогель положил его на стол между ними с таким видом, будто совершал священнодействие. Монета глухо стукнула по дубовой столешнице, и этот звук на мгновение заглушил все остальные шумы в зале.

Николаус увидел профиль. Гордый, надменный, с завитым париком и лавровым венком. На другой стороне – орёл. Тот самый, что был на пряжке Фогеля, но теперь отчеканенный в металле. Это был прусский талер. Королевский талер.

– Der Vorschuss, – произнёс вербовщик, и его скрипучий голос вновь обрёл официальные, командные нотки. (Аванс).

Он не протянул монету. Она просто лежала там, на столе, сверкая своим холодным светом, как зрачок хищной птицы.

– Den Rest kriegst du, wenn du dem König den Eid leistest. (Остальное получишь, когда присягнёшь королю).

Николаус смотрел на талер, как загипнотизированный. Это был не просто кусок серебра. Но первая, настоящая, осязаемая часть новой жизни. Плата за его будущую кровь. Залог его готовности умереть за чуждые ему интересы. Символ того, что он продал себя. И в то же время

– ключ. К еде. К одежде. К статусу. К существованию, которое было хоть чем-то больше, чем жалкое прозябание в тени чужого очага.

Он медленно, почти неверящей рукой, протянул ладонь и накрыл ею монету. Металл был холодным, как лёд, но в прикосновении сквозила странная, обжигающая энергия. Парень поднял талер. Тот был тяжёлым. Неожиданно тяжёлым для своего размера. В весе чувствовалась тяжесть всей той государственной машины, что теперь зачислила его в свой состав.

– Morgen. Sechs Uhr. Hier. – голос Фогеля прозвучал как удар хлыста, вернув Николауса к реальности. (Завтра. В шесть часов. Здесь).

Юноша поднял на него глаза. Взгляд вербовщика был твёрдым и абсолютно бесстрастным.

– Wenn du zu spät kommst... (Если опоздаешь...), – Фогель сделал театральную паузу, наслаждаясь моментом, – ...dann finde ich dich. Und dann henke ich dich wie einen Deserteur. (... тогда я найду тебя. И тогда повешу тебя как дезертира).

Угроза висела в воздухе, острая и недвусмысленная, как лезвие гильотины. В этих словах не было злобы. Была лишь холодная, административная констатация факта. Ты принял аванс, стал собственностью короны. Попытка вернуть свободу будет расценена как воровство. Дальше казнь. Всё просто.

Николаус сглотнул, горло пересохло. Он судорожно сжал талер в кулаке, ощущая, как грани монеты впиваются в ладонь.

– Ich werde da sein, Herr Korporal. (Я буду здесь, господин капрал).

Фогель кивнул, один раз, коротко, и повернулся к своей кружке, демонстративно прекратив разговор. Его интерес угас. Добыча была помечена, взвешена и учтена. Теперь она могла ждать своего часа. Аудиенция была окончена.

Николаус, всё ещё сжимая в руке талер, как утопающий – соломинку, отступил от стола и пошёл через зал. Он не видел лиц, не слышал голосов. Был в вакууме, в странном пространстве между прошлым и будущим. Прошёл в подсобку и только там, в одиночестве, разжал ладонь.

Королевский талер лежал на мозолистой ладони. Он был первыми его собственными деньгами в этом мире. Не подаянием, не платой за унижительный труд, а авансом. Платой за него самого. За жизнь. За будущую смерть.

Николаус сидел так, не двигаясь и не чувствуя времени, пока снаружи слышались торопливые шаги и в дверь ворвалась Грета. Её лицо было бледным, глаза полными слез.

– Oh, du armer, armer Narr! – выдохнула она, ломая руки. (О, ты бедный, бедный дурак!)

– Weißt du, was du getan hast? Das ist dein Todesurteil! (Ты знаешь, что ты сделал? Это твой смертный приговор!)

Мгновение она колебалась, потом судорожно полезла в карман своего фартука, доставая какую-то заветную, зашитую в тряпицу монетку – всё, что у неё было.

– Nimm... nimm und lauf! (Возьми... возьми и беги!), – прошептала она отчаянно.

Служанка смотрела на юношу с таким отчаянием, с такой настоящей, материнской болью, что у него сжалось сердце. Она видела в нём мальчика, ведущего себя на убой. И она была права. Но женщина не видела того, что видел он – вне армии его ждала медленная, беспросветная смерть в нищете и неизвестности. Армия же давала шанс. Пусть один из ста. Но шанс. Он не стал спорить. Просто покачал головой, бережно, но твёрдо отводя дрожащую руку с жалкими сбережениями. Её дар был билетом в никуда. Его талер – в ад, но ад с чёткими правилами. Он посмотрел на Грету и тихо, но твёрдо сказал:

– Ich habe keine Wahl, Grete. (У меня нет выбора, Грета).

Она поняла. Поняла всё – и его отчаяние, и решимость, и ту страшную логику, что привела к этому шагу. Она просто заплакала, тихо, по-старушечьи, вытирая слёзы уголком своего фартука.

Николаус снова посмотрел на талер. Холод серебра уже сменился теплом его руки. Монета стала его. А он стал её. Перевернул и снова увидел орла. Хищного, беспощадного. И понял, что с этой минуты он – всего лишь перо в крыле этой птицы. Куда полетит она – туда отправится и он.

Сжав талер в кулаке с новой силой. Страх никуда не делся. Но теперь к нему примешалась странная, почти пьянящая решимость. В памяти, как отголосок из другой вселенной, всплыла фраза: «Присягаю...». Только тогда это звучало как высокая клятва. Теперь это была сделка. Товарно-денежные отношения с собственной жизнью.

Точка невозврата была пройдена. Завтра, в шесть утра, начнётся новая жизнь – солдата. И лежащий на ладони королевский талер был и платой за это, и символом, и надгробным камнем на могиле того, кем он был прежде. Дорога была выбрана. Оставалось только идти по ней. До конца.

Глава 21: Прощание с Золотым львом

Последняя ночь в сарае «У Золотого льва» была непохожа на все предыдущие. Она не принесла Николаусу ни забытья, ни отдыха. Только стала долгим, мучительным чистилищем, где его разрывали на части призраки прошлого и хищные тени будущего. Он лежал на своей гряде мешков, уставившись в непроглядную темень под потолком, и в ушах звенела фраза Фогеля, точная и безжалостная, как зазубрина на штыке: «...повешу как дезертира». Эти слова были стоп-краном, навсегда перекрывавшим путь к отступлению. Молодой человек сжимал в кармане грубых штанов королевский талер, и тепло металла прожигало ткань, словно напоминая о цене выбора.

Он думал о Грете. О её слезах, отчаянии. Эта простая, измождённая жизнью женщина стала для него за этот короткий период в корчме больше, чем просто доброй душой. Она была единственным другом, защитницей, тихим прибежищем в мире, полном враждебности. Николаус чувствовал себя предателем. Бросая её здесь, одну, с этими вечными луковыми щами и грубыми хозяевами, уходя навстречу призрачной судьбе, которая, как она справедливо считала, могла оказаться гибелью.

Юноша думал о хозяине. О его тяжёлой, каменной беспристрастности. Для того ли он сжалился над сиротой, дал кров и работу, чтобы он теперь ушёл, едва окрепнув? Не будет ли это расценено как чёрная неблагодарность? Не навлечёт ли это гнев человека-утёса на саму Грету?

Но сильнее всего грызла тоска по дому. По тому, что остался в другом времени. По Розовке. По тишине, по пыльной шкатулке на чердаке, по тому чувству, пусть и горькому, одиночества, которое было своим, привычным, а не вот этим, острым, как нож, чувством чужого среди чужих. Сейчас, на пороге казармы, тот мир казался не просто далёким, а хрупким, как стекло – красивой, но разбитой безделушкой, которую уже не собрать. Этот же мир, с его соломенной подстилкой и запахом железа от талера в кармане, был тяжёлым, грубым и настоящим. Он мысленно прощался с тем Николаем, семидесятилетним стариком. Тот мир был сном. Этот, с его соломенной подстилкой и запахом навоза, был единственной реальностью.

Когда за стеной впервые прокричал петух, то сердце не дрогнуло от страха, а, наоборот, забилось ровнее и увереннее, словно в такт этому грубому, будничному сигналу к действию. Пришло время действовать. Он поднялся, и тело, ещё ноющее от вчерашней работы, отозвалось не только болью, а готовностью к нагрузке – как инструмент, который берут в руки. Парень вышел во двор. Воздух был холодным, чистым, обжигающим лёгкие после спёртой атмосферы сарая. Умылся ледяной водой из колодца, и каждая капля, стекавшая по лицу, словно смывала последние следы нерешительности.

Первым делом направился к хозяину. Тот, как и всегда, был уже на ногах, тяжёлой глыбой возвышаясь среди утренней суеты двора, отдавая распоряжения подмастерьям. Николаус подошёл и, не говоря ни слова, протянул несколько мелких монет – часть своего аванса.

Хозяин остановился и уставился на него своими свинными глазками. Посмотрел на монеты, потом на решительное, повзрослевшее за ночь лицо рекрута.

– Was soll das? – буркнул он. (Что это значит?)

– Für die Mühe. Und das Essen, – уверенно и чётко сказал Николаус. (За хлопоты. И за еду).

Он боялся гнева, насмешки, презрения. Но произошло нечто неожиданное. Хозяин, не отрывая взгляда, медленно протянул свою лапищу, взял монеты, взвесил их на руке и с коротким кивком сунул в карман своего засаленного фартука.

– Hast du doch was gelernt hier. Anständigkeit, – проворчал он. (Значит, ты всё-таки кое-чему здесь научился. Порядку).

Николаус понял: для этого человека «порядочность» означала не доброту, а чёткое выполнение обязательств. И он, заплатив, это обязательство выполнил.

И затем, столь же неожиданно, хозяин хлопнул юношу по плечу своей тяжёлой, как молот, рукой. Удар был таким, что тот едва устоял на ногах.

– Dann dien gut, Junge, – сказал хозяин, и в его голосе, впервые за всё время, прозвучала не насмешка, а нечто похожее на грубое, солёное, как вобла, уважение. (Ну, так служи хорошо, парень).

Это было больше, чем он мог ожидать. Больше, чем смел надеяться. Этот простой жест, лаконичная фраза значили для Николауса в тот момент больше, чем любые напутственные речи. Он был признан. Не как слуга, не как жалкий сирота, а как человек, сделавший выбор и готовый за него ответить.

Поклонившись, пошёл искать Грету. Найдя её на кухне, где она, красноглазая, уже растапливала очаг. Увидев юношу, снова всплеснула руками, но слёз уже не было. Была лишь тихая, смиренная печаль.

– Ach, mein Junge... Mein armer Junge... – прошептала она, качая головой. (Ах, мой мальчик... Мой бедный мальчик...).

Николаус подошёл и взял её шершавую, исцарапанную руку. Он не знал слов, чтобы выразить всё, что чувствовал. Всё, что у него было, – это жалкие обрывки чужого языка.

– Danke, Grete, – сказал парень, и его голос дрогнул. – Für alles. (Спасибо, Грета. За всё).

Женщина смотрела на него, и в её усталых глазах светилась бездонная нежность. Потом она вырвала руку, сунула её в карман платья и достала небольшой, заботливо завернутый узелок.

– Nimm, – сказала служанка, суя в руки. (Возьми).

Николаус развернул край. Внутри лежал кусок сыра, несколько луковиц и краюха чёрного хлеба. Его паёк в дорогу.

Затем, быстрым, почти стыдливым движением, она перекрестила его.

– Komm heil zurück, – выдохнула она, и в этих простых словах – «Возвращайся целым» – заключалась вся мудрость и всё отчаяние простых людей этой эпохи. Возвращайся живым. Это было единственное, что имело значение.

Для Николая это прощание было куда более важным и трогательным, чем любой контракт с королём. Это был первый знак того, что он начал оставлять след в этом мире. Что в нём кто-то нуждался. О нём кто-то плакал. Его уход что-то значил. В мире, где Николаус был никем, он стал кем-то для этой старой, измученной женщины. И это придавало его уходу горький, но необходимый смысл.

Юноша вышел из корчмы «У Золотого льва» с узелком в руке и с талером в кармане. Оглянулся на низкое, почерневшее от времени здание с его нелепой вывеской. Этот приземистый, пропахший пивом и человеческими судьбами дом стал для него первым пристанищем в прошлом. Здесь его приютили, здесь унижали, здесь он нашёл первого друга и сделал первый осознанный выбор.

Повернувшись спиной к корчме, Николаус сделал шаг и замер, слившись с утренним туманом, который стелился по дороге. Его место теперь было здесь, у порога. Ждать. Где-то в этом молочном мареве, должно быть, скрывался капрал Фогель и его новая судьба. Он больше не оглядывался на дверь. Она захлопнулась не только за его спиной, но и в его душе, отделяя юношу-сироту от солдата, который должен был теперь родиться. Грусть и благодарность остались позади, смешавшись с дымом из трубы корчмы. Впереди была отправная точка. И Николаус чувствовал не страх, а странное, тяжёлое чувство долга – не перед королём, чей профиль отчеканен на талере, а перед теми, чьи лица остались в тепле очага. Он должен был выжить, пройти этот путь. Чтобы их вера, жалость, грубое уважение не оказались напрасными. А пока юноша стоял, неподвижный, в предрассветной сырости, и ждал.

Глава 22: Колонна новобранцев

Прощание осталось позади, запертое в стенах корчмы, и теперь мир сузился до клочка грязной дороги, ледящего влажного воздуха и томительного ожидания. Каждая секунда тянулась резиновой петлёй, грозя в любой момент лопнуть и отшвырнуть обратно, в бездну неопределённости.

И вот, ровно в шесть, из тумана, как призракное видение, возникли они. Сперва послышался мерный, нестройный топот, похожий на отдалённый барабанный бой, затем заскрипели оси, и наконец проступили контуры. Капрал Фогель шёл впереди, его фигура в синем мундире казалась в молочной дымке ещё более массивной и грозной. За ним, словно привязанные невидимой верёвкой, плелась колонна людей.

Это было зрелище, от которого кровь стыла в жилах. Не бравые солдаты, грозная военная машина, а сборище потерянных душ, скованное страхом и холодом. Человек двадцать, тридцать. Молодые, по большей части, лица, но на некоторых уже лежала печать преждевременной старости и тяжкого труда. Они шли, сгорбившись, в своей убогой, разношёрстной одежде – кто в поношенной куртке, кто в грубом холщовом мешке с прорезями для рук. На ногах у иных были опорки, едва державшиеся на верёвках, у других – грубые, самодельные башмаки. Они были грязны, небриты, и в их глазах читалась одна и та же смесь эмоций: животный страх, тупая покорность судьбе, а у иных – пьяная удаль, быстро таявшая под пронзительным взглядом Фогеля.

Николаус почувствовал, как его собственное тело наливается свинцом. Он стал одним из них. Частью этого серого, бесправного стада, которое гнали на убой. Все недавние мысли о структуре, статусе, легитимности вдруг показались наивными и смешными. Он видел перед собой не армию, а скот, обречённый на заклание. В памяти, словно насмешка, всплыл образ иной колонны – строя, идущего чётким шагом под марш. Там была та же покорность, но облечённая в ритуал, форму, идею. Здесь же была голая, звериная покорность холоду, голоду и дубине надсмотрщика.

Фогель, не удостоив новобранца взглядом, лишь отрывисто махнул рукой, приказывая вливаться в строй. Николаус механически шагнул и занял место в хвосте колонны. Рядом с ним оказался парень, почти мальчик, с бледным, испуганным лицом и тонкой, ещё не сформировавшейся шеей. Он постоянно облизывал пересохшие губы и вздрагивал от каждого окрика Фогеля.

– Марш! – раздалась команда, короткая, как выстрел.

Колонна дёрнулась и поплелась по дороге, увязая в грязи. Туман медленно рассеивался, уступая место хмурому, серому дню. Солнце, если оно и было, пряталось за сплошной завесой облаков. Они шли. Просто шли. Никто не говорил. Слышен был лишь шлёпающий звук десятков ног, тяжёлое дыхание и изредка – отрывистая команда Фогеля, подгоняющая отстающих.

Николаус шёл, опустив голову, стараясь не думать ни о чём. Просто смотрел под ноги, на грязь, камни, корни деревьев, торчащие из земли. Чувствовал, как влага просачивается через его самодельную обувь и холод цепкими когтями впивается в пальцы ног. Ощущал пустоту в желудке, но есть не решался, боясь нарушить невидимый порядок этого шествия.

Шли они, казалось, целую вечность. Тело молодого человека, ещё не оправившееся от недель тяжёлого труда и недоедания в корчме, начало сдавать. Ремень грубого холщового мешка врезался в плечо, натирая до кровавой ссадины. Каждый камень под тонкой подошвой отдавался болью в позвоночнике. Ноги горели, спина ныла, в висках стучало. Он с завистью смотрел на Фогеля, который шёл впереди, его спина была прямой, а шаг – упругим и неутомимым. Этот человек был сделан из другого теста. Он был порождением этой системы, её идеальным продуктом.

Через несколько часов молчание стало невыносимым. Оно давило, как свинцовая плита. И вот, парень, шедший впереди Николауса, обернулся. Это был другой тип. Не испуганный юнец, а коренастый, вертлявый малый с быстрыми, как у птицы, глазами и насмешливой ухмылкой на лице.

– Ну, земляк? Тоже захотелось подохнуть за старого Фрица? – прошипел он, стараясь, чтобы Фогель не услышал.

Николаус промолчал, сделав вид, что не расслышал. В этом строю любое слово могло быть доложено. Но его молчание было воспринято как согласие.

– Я Фриц, – представился вертлявый, тыча себя в грудь. – из Берлина. А этот... – он кивнул на огромного парня, который шёл слева от него, угрюмый и огромный, как скала. – ...это Йохан. Из Померании. Мало говорит. Но если нужно кого-то задушить – он наш человек.

Йохан, гигант с простым, как печеный картофель, лицом, лишь кивнул, его маленькие, глубоко посаженные глаза внимательно изучали Николауса. Во взгляде не было ни дружелюбия, ни вражды – лишь спокойная, животная оценка.

– А ты? – не унимался Фриц.

– Николаус, – коротко представился юноша.

– Откуда?

С юга, – уклончиво буркнул Николаус.

– Ага! Католик! – фыркнул Фриц, и в его голосе прозвучала насмешка, но беззлобная.

Этот короткий, корявый диалог стал первым лучом света в этом царстве тоски и страха. Он нарушил ледяную скорлупу отчуждения. Они были разными – болтливый горожанин Фриц, молчаливый деревенский силач Йохан и он, Николаус, чужак с юга. Но их объединяла одна судьба. Они были новобранцами. Пушечным мясом. И это рождало между ними странное, примитивное чувство общности.

Дорога вела всё дальше от привычного мира. Мимо полей, на которых крестьяне, не поднимая голов, возделывали землю. Мимо редких деревень, откуда на них смотрели испуганные или равнодушные лица. Мимо виселицы с болтающимся на ней тёмным, высохшим мешком, который когда-то был человеком – молчаливое напоминание о том, что ждёт тех, кто ослушается. Николаус невольно посмотрел на шею впереди идущего Фрица, на могучий затылок Йохана. Все они были кандидатами в этот тёмный, качающийся на ветру мешок. Или в герои. Разница определялась не ими, а слепым жребием войны и волей того, кто шёл впереди.

К полудню Фогель наконец скомандовал привал. Колонна рухнула на обочину, как подкошенная. Люди жадно припадали к лужам, чтобы напиться, или, как Николаус, доставали свои скудные припасы. Он разломил хлеб, поделился с Йоханом и Фрицем луком. Молча. Жест был понятен без слов. Они ели, сидя в грязи, и в этом простом акте рождалось нечто большее, чем просто сытость. Рождалось братство. Хрупкое, вынужденное, но братство.

Фогель, тем временем, стоял поодаль, доедая свою порцию – чего-то завёрнутого в ткань. Он наблюдал за ними, и на его лице снова появилось то самое выражение бухгалтера, ведущего учёт.

– Смотри-ка, смотри-ка, – проворчал он себе под нос. – Собаки уже сбиваются в стаю.

После короткого отдыха снова раздалась команда: «Марш!» И они снова поплелись, уже не такой разрозненной толпой, а неким подобием коллектива, связанным общей усталостью и зарождающимся знакомством.

Николаус шёл теперь между Фрицем и Йоханом. Он слушал бесконечные байки Фрица о жизни в Берлине, о трактирных драках и смыслённых девках. Чувствовал молчаливую, спокойную силу Йохана, идущего рядом, как скалу, о которую можно опереться. Его собственный страх никуда не делся. Он был тут, холодным комком в желудке. Но теперь Николаус был не один. Рядом были такие же, как он. Потерянные, напуганные, но живые.

Они шли весь день. Дорога казалась бесконечной. Но теперь, глядя на спину Фогеля, на своих новых товарищей, на грязные, усталые лица вокруг, Николаус понимал: это было только начало. Долгий, долгий путь к месту, которое станет его новым домом. А может быть – и могилой. Но сейчас, в этот момент, он был просто частью колонны. Частью чего-то большего, чем он сам. И в этом была своя, горькая и странная, правда.

Глава 23: Первый взгляд на казарму

Они шли ещё два дня. Два дня, слившиеся в одно сплошное, мучительное полотно усталости, грязи и скудной похлёбки, которую им варили на привалах в огромном армейском котле. Ноги Николауса превратились в два деревянных обрубка, которые механически, помимо его воли, переставлялись друг за другом. Спина горела огнём, а в ушах стоял непрерывный звон – эхо бесконечной дороги. Но теперь они шли уже не разрозненной толпой, а подобием строя. Нестройным, ковыляющим, но строем. Их шаги, вначале шлёпающие беспорядочно, теперь отбивали хоть и усталый, но единый ритм. Даже Фриц приумолк, сохраняя дыхание для бесконечного пути.

На исходе третьего дня дорога пошла в гору, и из-за поворота на них обрушилось зрелище, от которого перехватило дыхание даже у молчаливого Йохана. Впереди, в долине, раскинулся город. Но не город мирных жителей с покатыми черепичными крышами и кривыми улочками, а город-крепость, город-казарма.

Доминировал над всем форт – массивное, мрачное сооружение из серого камня с зияющими амбразурами и низкими, словно присевшими на корточки, бастionsами. От него, как щупальца, тянулись длинные, низкие здания казарм, похожие на каменные саркофаги, выстроенные в безупречно прямые линии. Крыши их были плоскими, функциональными, лишёнными каких-либо излишеств. Между ними зияли огромные, утопанные до глиняного блеска плацы, размером с целое поле. Воздух над этим местом был – густым, тяжёлым, пропахшим не дымом домашних очагов, а едкой смесью лошадиного пота, дёгтя, кожи и чего-то острого, металлического, что щекотало ноздри и сжимало горло. Порох.

– Чёрт возьми! – выдохнул Фриц, и в его голосе прозвучало неподдельное почтение, смешанное со страхом.

Николаус молча смотрел на эту каменную паутину, на этот гигантский муравейник, предназначенный для перемалывания человеческих судеб. Это была не просто крепость. Это был механизм. Огромный, бездушный, отлаженный механизм, и сейчас он, со своим талером в кармане и узелком в руке, становился одной из его крошечных, легко заменимых шестерёнок. Раньше «армия» была для Николауса идеей, пусть и жестокой. Теперь – стала пейзажем, запахом, физическим давлением камня и чужих взглядов, пригибавшим плечи.

Фогель, ни на секунду не сбавляя шага, повел новобранцев вниз, к воротам. Часовые у массивных дубовых створов, увенчанных железными шипами, стояли недвижимо, как каменные изваяния. Их мундиры сияли неестественной чистотой, а лица под высокими касками были непроницаемы. Они пропустили колонну, не шелохнувшись, лишь их глаза, холодные и оценивающие, скользнули по новобранцам, словно фиксируя поступление нового сырья.

И вот они внутри. Мир изменился окончательно и бесповоротно. Глазам открылся настоящий лабиринт из камня, грязи и дисциплины. Повсюду царила неестественная, пугающая активность. Роты солдат, выстроенные в безупречные квадраты, отрабатывали строевые приемы на плацу. Команды офицеров, отрывистые и резкие, как выстрелы, резали воздух. Где-то далеко, за казармами, слышался лязг металла и глухие удары – то ли кузнецы ковали оружие, то ли артиллеристы занимались с орудиями. От конюшен тянуло стойким, терпким запахом навоза и лошадиной мочи. И над всем этим витал тот самый знакомый, щекочущий ноздри запах – сладковатый и опасный запах пороховой мякоти.

Их, грязных, обессилевших, с всклокоченными волосами, построили на одном из плацев. Новобранцы стояли, понутив головы, жалкие и ничтожные на фоне этой отлаженной гигантской машины. Мимо маршировали старослужащие, их мундиры были хоть и поношенными, но чистыми, сапоги блестели, а лица выражали привычную, почти сонную уверенность. Они бросали на прибывших короткие, насмешливые взгляды. «Свежее мясо», – читалось в их глазах.

Вскоре к ним подошёл офицер. Не капрал, как Фогель, а настоящий офицер. Молодой, с холёным, надменным лицом и тростью в руке. Его мундир сидел безупречно, а взгляд был таким же острым и безразличным, как у Фогеля, но облагороженным образованием и происхождением. Это был дежурный по гарнизону.

Он медленно прошёлся перед шеренгой, не глядя в лица, а оценивая, как смотрят на скот. Его трость постукивала по голенищам начищенных до зеркального блеска сапог.

– Новый товар, – произнёс он тихо, обращаясь к сопровождавшему его фельдфебелю.

Фельдфебель, седой, с лицом, изборозждённым шрамами и морщинами, как старая карта, лишь кивнул.

Офицер остановился и, наконец, поднял взгляд на новобранцев. Его голос прозвучал громко и чётко, без тени эмоций.

– Я поручик фон унд цу Биберштайн. Добро пожаловать в ад.

Он не стал тратить время на пространные речи. Отдал несколько коротких распоряжений фельдфебелю, тыча тростью в отдельных новобранцев.

– Ты, ты и ты – в третью роту. Эти два великана – в пятую. Эти негодяи – в артиллерию.

Когда его трость указала на группу, где стояли Николаус, Фриц и Йохан, и он произнёс слово «Артиллерия», сердце Николауса на мгновение замерло. Пушки. Нечто большее, чем просто мушкет и штык. Рядом Фриц едва слышно свистнул: «Чёрт возьми! Там будет громко!» Йохан лишь потёр свои огромные ладони, словно уже примеряясь к тяжести ядра. Разное отношение, но один итог – их пути пока что не расходятся. В сознании молодого человека, в памяти человека из будущего, мелькнули смутные образы: физика, механика, баллистика. Интерес, острый и неожиданный, на секунду пересилил страх.

Их, человек десять, включая эту троицу, отвели в сторону. Фогель, выполнив свою миссию, исчез, растворившись в лабиринте казарм, даже не попрощавшись. Его дело было сделано.

Далее началась процедура, напоминающая конвейер. Завели в длинное, низкое здание с вывеской «Kleiderkammer» – вещевой склад. Внутри пахло камфарой и полыньёю – едкими, отпугивающими моль травами, грубым сукном и потом. Усталый, равнодушный каптенармус, не глядя на вошедших, начал швырять им предметы обмундирования.

Синий мундир из грубой шерсти, колючий и тяжёлый. Белые штаны-кюлоты, которые тут же становились грязными от прикосновения к полу. Чёрные гетры из толстой кожи. Рубаха из небеленого холста, жёсткая, как тёрка. И сапоги. Грубые, негнущиеся, пахнущие дёгтем и чужими ногами. Всё это было поношенным, потным, пропитанным историей чужих тел и, возможно, чужих смертей.

Переодевание было ещё одним актом уничтожения старой идентичности. Снимая грязную, но свою рубаху, Николаус чувствовал, как сбрасывает с себя последние остатки Николая Гептинга. Надевая колючий мундир, он ощущал, как покрывается новой, чужой кожей. Засунув руку в карман, он нащупал зашитый уголок и обломок сургуча – чья-то давняя, бессмысленная теперь попытка что-то сберечь. Сапоги жали, натирая пятки, но в этом дискомфорте была своя, странная правда – это была правда его нового положения.

Затем им выдали по миске и ложке – жестяной, холодной и безликой. Это были их единственные личные вещи. Всё остальное принадлежало королю.

Наконец, их привели в казарму. Длинное, мрачное помещение, похожее на сарай или конюшню. Воздух здесь был спёртым, густым, состоящим из смеси пота, грязных ног, щей и дешёвого табака. По обеим сторонам тянулись двухъярусные нары – грубые деревянные конструкции, застеленные тонкими, серыми соломенными тюфяками. Здесь не было ни уединения, ни личного пространства. Только общая масса, воздух и судьба.

Их расселили. Николаус, Фриц и Йохан оказались на соседних нарах. Фриц тут же с гримасой плюхнулся на свою шконку и потёр истоптанные ноги.

– Ну, господа артиллеристы! – язвительно провозгласил он. – По крайней мере, нам не придётся бегать в штыковую, как этим идиотам из пехоты.

Йохан молча разглядывал свою новую миску, словно пытаясь понять её душу.

Николаус сел на край своей койки. Солома хрустнула под задницей. Он оглядел помещение, людей, себя в этом чужом, колючем мундире. Провёл рукой по грубой ткани. Это теперь была его кожа. Его новая кожа солдата Пруссии. Страх никуда не делся. Он был тут, глубоко внутри, холодный и живой. Но теперь к нему добавилось – острое, почти болезненное любопытство. Что будет дальше? Как работает эта машина? И какую роль в ней предстоит играть ему?

Николаус смотрел на своих товарищей – на болтливого Фрица, молчаливого Йохана, на других таких же, перепуганных и растерянных парней. Они были разными. Но теперь их объединяло нечто большее, чем дорога. Их объединял этот мундир, запах, казарма. И та неизвестность, что ждала завтра. Завтра конвейер, сегодня лишь принявший их в своё чрево, заработает в полную силу. И начнётся процесс превращения «нового товара», разбросанного по нарам, в нечто единое – в батарею. Юноша лёг на спину, уставившись в темноту под потолком состоящим из грубых балок. Механизм был запущен. Оставалось наблюдать и учиться. Выживать.

Глава 24: Солдатская похлёбка

Солнце закатывалось где-то за стенами их каменного мешка, но внутри казармы время определялось не светом, а звуками. Резкий, пронзительный звук рожка, ворвавшийся в гул голосов, стал тем абсолютным законом, перед которым смолкла даже болтовня Фрица. Все, как один, замерли, а потом, повинуясь невидимому импульсу, начали движение к двери. Это был сигнал на ужин.

Николаус, всё ещё ощущая на себе чужой, колючий груз мундира, поднялся с нар и присоединился к общему потоку. Тело, затёкшее и разбитое после долгой дороги, протестовало каждым мускулом, но инстинкт послушания, уже начавший прорастать сквозь страх, заставлял ноги двигаться. Новобранцы вышли на вечерний плац, где уже выстраивались такие же, как они, серо-синие шеренги. Воздух стал ещё холоднее, и предзакатное небо, багровое и яростное, висело над крепостью, словно отблеск далёкого пожара.

Их, молодых артиллеристов, построили и повели не на общий плац, а к отдельному, более низкому и длинному зданию, из трубы которого валил густой, жирный дым, пахнувший горелым жиром и... чем-то съедобным. Это была солдатская кухня.

Войдя внутрь, Николауса охватила новая волна ощущений. Если казарма пахла потом и отчаянием, то здесь запах был плотским, животным, первобытным. Пахло едой. Горячей едой. После дней дороги с её скудными пайками этот запах действовал на молодого человека сильнее любого наркотика. Слюна бурно хлынула во рту, а желудок, до этого тихо ноющий, заурчал с такой силой, что соседний Фриц фыркнул.

Помещение столовой было огромным, заставленным грубыми деревянными столами и скамьями, исчерченными ножами и именами. В центре стояли огромные, почерневшие от копоти медные котлы, из которых двое дюжих солдат с засученными рукавами и апатичными лицами черпали что-то густое и мутное. Процессия двигалась мимо них, и каждому в протянутую миску с глухим шлепком падала порция этого варева, а на край миски швырялся кусок чёрного, как земля, хлеба.

Получив свою порцию, Николаус вжался с Фрицем и Йоханом за один из столов. Он смотрел на свою миску. Внутри плескалась густая, коричнево-зелёная масса, в которой угадывались куски репы, картофеля, лука и какие-то бледные, жирные прожилки, возможно, сала, а возможно, и чего-то ещё. Это была гороховая похлёбка, знаменитая «эрбсенсуппе» – основа солдатского рациона. Она не выглядела аппетитной. Но она была горячей. И она была едой.

Юноша поднёс ложку ко рту. Первый глоток обжёг язык и нёбо, но он почти не почувствовал боли. Ощущая только вкус. Солёный, жирный, простой до примитивности, но невероятно, божественно насыщенный. Это был вкус жизни. Той самой жизни, которая теперь предстояла. Николаус ел жадно, не разбирая вкуса, заглатывая густую массу, и с каждым глотком по измождённому телу растекалось тепло, смывая слои усталости и холода. Хлеб, твёрдый, как камень, он размачивал в похлёбке, и тот становился съедобным.

Ели молча, все трое. Даже Фриц на время утратил дар речи, всё его существо было сосредоточено на процессе поглощения пищи. Йохан ел методично и неспешно, его огромные руки с неожиданной аккуратностью орудовали ложкой, словно он боялся расплескать хоть каплю драгоценной еды.

А вокруг кипела жизнь гарнизона. За соседними столами сидели старослужащие. Это были уже совсем другие люди. Не те потерянные, испуганные существа, с которыми был Николаус. Их движения были отточены, взгляды – спокойны и насмешливы. Ели ту же похлёбку, но делали это с каким-то особым, привычным ритуалом. Старые солдаты громко разговаривали, смеялись, перебрасывались шутками на своём, армейском жаргоне, где привычные слова смешивались с грубыми солёными остротами и командами.

Николаус слушал, и его слух, уже настроенный на улавливание речи, выхватывал обрывки.

«...старик снова ругался, как помело...»

«...австрийцы, говорят, уже в Богемии...»

«...моя жена пишет, корова отелилась...»

Это были разговоры о службе, войне, доме. В них не было паники, был лишь привычный, ежедневный фон солдатского существования. Эти люди были частью механизма. Знали свои места, обязанности, свой распорядок. Они были винтиками, но винтиками, которые понимали, как работает машина.

Фриц, закончив есть и облизав миску до блеска, первый нарушил молчание их троицы. Он облокотился на стол и снова обрёл дар речи.

– Ну, парни? Как вам великолепие?

Болтун кивнул в сторону старослужащих.

– Вон те... те уже поняли. Они знают, как здесь выживать.

Йохан, доев свой хлеб, поднял на Фрица спокойные глаза.

– Выживать, – произнёс великан своим глухим, низким голосом, и в этом одном слове заключалась вся суть их положения.

Николаус смотрел на свою пустую миску. Он чувствовал сытость. Первую за долгое время настоящую сытость. И вместе с ней пришло странное, почти мистическое ощущение. Молодой человек сидел здесь, в этом грубом, пропахшем щами и потом зале, среди чужих людей, в чужой одежде, в чужом времени. Но в этом был свой, жестокий и неоспоримый порядок. Было время есть. Время спать. Были товарищи, с которыми ты делил и хлеб, и страх. Была структура.

Он посмотрел на Фрица, на его оживлённое, хитроватое лицо. На Йохана и его молчаливую, надёжную мощь. Они были такими разными. Но они были его братьями по несчастью, по судьбе, по этой миске с похлёбкой. В своём убогом, нищем виде это было подобие семьи. Семьи, собранной по приказу и по воле случая, но семьи.

Когда они вышли из столовой, ночь уже полностью вступила в свои права. Над крепостью сияли холодные, яркие звёзды. Где-то в караульном помещении пели песню – грубую, меланхоличную солдатскую балладу. Возвращаясь в казарму, Николаус чувствовал себя иначе. Он был всё так же напуган. Он всё так же не понимал, что ждёт его завтра. Но теперь он был сыт. У него была крыша над головой. И рядом были люди, с которыми он прошёл этот день.

Он забрался на свою жёсткую койку, укрылся тонким, пропахшим табаком одеялом и прислушался к звукам казармы. Храп, бормотание спящих, скрип нар, чей-то сдавленный кашель. Этот хаотический хор ночной жизни казармы был уже не таким враждебным. Он был просто фоном. Фоном его новой реальности.

Он закрыл глаза. Впервые за долгое время сон не был бегством от кошмара. Это был просто сон. Усталого, сытого человека, который прошёл через очередной день своей новой, тяжёлой, но уже начавшей обретать контуры жизни. Николаус не чувствовал больше одиночества. Он чувствовал принадлежность. Принадлежность к этому грубому, жестокому, но живому организму под названием армия. И в этой принадлежности, как это ни парадоксально, была его первая, зыбкая и хрупкая, но опора.

Глава 25. Стальной отец капрал Фогель

Рассвет пришёл в казарму не светом, а звуком. Ещё до того, как первые бледные лучи упали на запотевшие от дыхания сотен спящих тел стёкла, пространство взорвалось рёвом, от которого содрогнулись стены. Это был не сигнальный рожок – голос, выкованный из железа и гранита, голос, который не будил, а вырывал из сна с корнями.

– Подъём! Встать! Или я подниму вас сапогами!

Николаус открыл глаза, и первое, что увидел в полутьме, было лицо капрала Фогеля, нависшее над ним, как грозовая туча. Тот самый вербовщик, что положил перед ним королевский талер, преобразился. Не было и следа от той расчётливой, почти торговой ухмылки. Теперь это была маска из холодной ярости. Шрам на щеке казался глубже, почти фиолетовым в утренних сумерках, а глаза, маленькие и пронзительные, как пули, выжигали всё на своём пути.

Капрал не шёл между рядами коек – он прокатывался, и пол под сапогами скрипел, как под копытами тяжеловоза. Его мундир был застёгнут на все пуговицы, кивер сидел на голове с геометрической точностью, а в руке он держал не алебарду или шпагу, а простую, толстую палку из ясеня, которой методично постукивал по ладони. Этот звук – глухой, отрывистый стук – стал вторым сердцебиением казармы, под которое теперь должен был биться пульс каждого новобранца.

– За тридцать секунд построиться на плацу! Кто опоздает – будет скрести камни собственной рубахой! – голос Фогеля не кричал. Он метался по помещению, как картечь, ricochetя от стен и вбиваясь в сознание.

Хаос, который последовал, было трудно назвать пробуждением. Это было паническое извержение из одеял, спотыкание о путаницу ног, безумный поиск собственных сапог в общей куче у двери. Николаус, ещё не до конца оторвавшись от липких объятий сна, инстинктивно рванулся с койки. Его тело кричало протестом – каждое движение отзывалось глухой болью в мышцах, но страх был сильнее. Юноша нащупал свои сапоги, грубые, как кора дерева, и силой втиснул в них окованные ноги. Голенища болтались, не стянутые крючками, но на это не было времени.

Рядом Фриц, бледный как смерть, пытался застелить свою койку, но одеяло выскальзывало из дрожащих пальцев. Йохан, уже стоявший на ногах, молча и методично застёгивал мундир своими огромными, удивительно ловкими руками. Лицо великана было спокойно, но в глубине глаз плескалась та же животная тревога.

Через двадцать семь секунд – Николаус бессознательно отсчитал их по ударам собственного сердца – они высыпали на плац. Утренний воздух ударил в лицо лезвием. Он был влажным, холодным и густым, как кисель, пропитанный запахами конюшни, сырой земли и дыма. Небо на востоке только начинало тлеть багровым углём, окрашивая зубчатые силуэты крепостных стен в цвет старой крови.

Новобранцы строились, толкаясь и путаясь, как слепые ягнята. Капрал Фогель уже ждал их посреди плаца, неподвижный, как истукан. Он не смотрел на них – сканировал, и его взгляд, медленный и тяжёлый, словно валун, катился по шеренге, сминая волю, выискивая малейший изъян.

– Ряды, сомкнуть! Пятки вместе, носки врозь! Грудь вперёд, животы втянуть! Головы поднять, смотреть прямо перед собой! – команды сыпались одна за другой, каждая – отточенная, как клинок. – Вы – не люди! Вы – грязь под сапогами короля! Вы – пушечное мясо, которое ещё нужно научить правильно умирать! И я – тот, кто вас научит!

Он начал с азов. Строевая стойка. Казалось бы, что может быть проще – просто стоять. Но Фогель превратил это в пытку. Инструктор подходил к каждому, его палка-ясеневик щёлкала

по голенищу, поправляя угол стопы, впивалась в живот, заставляя втягивать его до спазма, стучала по подбородку, поднимая голову так высоко, что начинала болеть шея.

– Ты! – его палка упёрлась в грудь Фрица. – Ты горбишься, как старая шлюха! Расправь плечи! Или я привяжу тебя к доске!

Фриц, весь дрожа, выпрямился, лицо покрылось испариной, несмотря на холод.

Потом начался шаг. «Links, zwei, drei, vier!» (Лево́й, два, три, четыре!) – Фогель выкрикивал счёт с метрономической чёткостью. Новобранцы шаркали, спотыкались, наступали друг другу на пятки. Капрал останавливал строй каждые три шага.

– Вы слышали? «Линкс» – левая нога! Это так сложно? У тебя в башке опилки, соломинка? – его лицо приближалось к лицу провинившегося так близко, что брызги слюны летели на щёки. Унижения были изощрёнными, выверенными, бьющими точно в самое уязвимое – в чувство собственного достоинства, от которого здесь не должно было остаться и следа. Он называл их «дохлыми крысами», «свинячьим помётом», «плаксами-девчонками». Его слова не просто оскорбляли – они стирали личность, превращая человека в номер, в винтик.

Николаус старался изо всех сил. Но не из страха – хотя страх был, холодный и липкий, как паутина в желудке. В нём сработало что-то иное, глубоко зарытое. Когда раздавалась команда «Links!», его левая нога уже была в движении. Когда Фогель требовал идеальной прямой спины, плечи молодого человека сами расправлялись, позвоночник выстраивался в струну. Это была не сознательная мысль, а мышечная память, эхо другой жизни, другой системы, где дисциплина и чёткость тоже были спасением. Юноша ловил себя на том, что смотрит не прямо перед собой, как требовалось, а следит глазами за строем, за углом, за синхронностью. Его взгляд аналитически выхватывал ошибки, ум автоматически вычислял ритм.

И Фогель это заметил.

Впервые за утро его взгляд, скользя по шеренге, не просто пробежал по Николаусу, а задержался. Не на долю секунды. Это был взгляд не ярости, а холодного, почти профессионального интереса. Как мастер смотрит на необработанный, но перспективный кусок стали.

– Гептинг! – рявкнул капрал. – Выйти из строя!

Сердце Николауса ёкнуло. Юноша сделал шаг вперёд, чётко, как требовал устав, который он ещё не знал, но который уже жил в его костях.

– Покажи им, как нужно поворачиваться направо! – скомандовал Фогель, и в его голосе не было привычной презрительной нотки. Была проверка.

Николаус замолчал на мгновение. В его голове не было знаний прусского устава XVIII века. Но была логика. Было понимание принципа: чёткость, резкость, сохранение строя. Он вскинул голову, вжал подбородок.

– Так точно, капрал! – его собственный голос прозвучал чужим, звонким и твёрдым в утренней тишине.

Он повернулся. Не так, как поворачивались другие новобранцы – не кособоко, сбиваясь с ноги. Его поворот был резким, отрывистым, как щелчок затвора. Движение, найденное интуитивно, оказалось единым и цельным. Казалось, он не размышлял над каждым счётом, а совершил отточенный жест и замер в новой позиции, глаза прикованы к горизонту.

На плацу воцарилась тишина. Было слышно только тяжёлое дыхание новобранцев и далёкий крик ворона на стене. Даже ветер стих.

Кaprал Фогель медленно обошёл Николауса кругом, его сапоги хрустели по гравии. Палка-ясене́вик больше не стучала по ладони. Он изучал стойку, положение корпуса, безупречную неподвижность. Потом остановился перед Юношей.

– Откуда? – спросил он тихо, так, чтобы слышали только они двое.

– Так точно... Я... не понимаю вопроса, капрал, – выдавил из себя Николаус.

– Откуда ты знаешь, как стоять? – уточнил Фогель. Его взгляд был острым, как шило. – Ты не крестьянин. У крестьянина такая спина не бывает. И взгляд не такой.

В голове Николауса металась обрывки легенды. Сирота. Далекие земли.

– Мой...отец научил, капрал, – соврал он, глотая сухой комок в горле. – Маленьким помню. Может, от него.

Фогель не поверил. Это было видно. Но он и не стал давить. Капрал кивнул, один раз, коротко. Это был не кивок одобрения. А простое признание факта. Факта, который менял расстановку сил. В этой бесформенной массе глины он нашёл кусок с правильной плотностью.

– Встать в строй, – бросил он уже громко, возвращаясь к своей роли божества-мучителя. – Видели, болваны? Вот как нужно! Будете равняться на Гептинга! А теперь все – поворот направо! «Ректс ум!» И чтобы у каждого было так же!

Оставшуюся часть утра ад продолжался. Муштра, отработка ружейных приёмов с тяжёлыми, неуклюжими учебными «фузеями» из чёрного дерева. Но что-то изменилось. Теперь, когда новобранцы путали лево и право, Фогель не просто орал. Он рычал: «Смотрите на Гептинга! Делайте как он!»

Это была новая форма пытки – быть эталоном. На Николауса теперь смотрели не только насмешливые глаза старослужащих, выглядывающие из окон казарм, но и полные ненависти, зависти и безысходности взгляды его же товарищей. Юноша стал мишенью. И для ярости Фогеля, который теперь ждал от него безупречности, и для отчаяния тех, кто не мог за ним угнаться.

К концу занятий, когда солнце, бледное и безжизненное, наконец поднялось над стенами, все были разбиты. Руки не слушались, ноги гудели, спина горела огнём. Лица покрылись грязью, смешанной с потом. Фогель построил всех в последний раз.

– Сегодня вы были дерьмом, – прохрипел капрал, его голос тоже осел от непрерывного крика. – Завтра будете чуть менее вонючим дерьмом. Отбой – в десять. Подъём – в четыре. Кто проспит – будет скрести плац своей же рубахой. Разойтись!

Он повернулся и ушёл, не оглядываясь, его прямая, как штык, спина постепенно растворялась в утреннем тумане.

Новобранцы стояли ещё несколько секунд, парализованные усталостью и облегчением, что это закончилось. Потом строй распался с тихим стоном. Все поплёлись к казарме, волоча ноги, как каторжники.

Николаус шёл медленнее других. Его тело ныло, но ум лихорадочно работал. Он поймал на себе взгляд Йохана. Великан молча кивнул. В этом кивке было что-то новое – не просто товарищество, а уважение. Фриц, напротив, смотрел с какой-то обидчивой сложностью.

– Ну ты и выскочка, – пробормотал он, но без злобы, скорее с горьким восхищением. – Из-за тебя теперь всем влетит по полной.

– Я не специально, – с грустью сказал Николаус, и это была правда.

– Знаем, знаем, – Фриц махнул рукой. – Просто... держись, Николаус. Если ты наш «пример», то мы все на тебя надеемся. Не подведи.

Войдя в казарму, молодой человек не бросился на койку. Он подошёл к умывальнику – длинному желобу с ледяной проточной водой – и опустил в неё лицо. Вода обожгла кожу, смывая пот и грязь. Юноша поднял голову, глядя на своё отражение в замутнённом оловянном тазу. Из воды на него смотрел не семнадцатилетний юноша, а человек с глазами старика. В этих глазах был не просто страх. Был расчёт, понимание, тяжёлая, как свинец, ответственность.

«Стальной отец», – пронеслось в голове. Да, Фогель был отцом. Жестоким, беспощадным, но отцом, который рождает их заново – не в жизнь, а в смерть. И теперь Николаус, сам того не желая, стал его первым сыном. Избранником. Заложником.

Он вытер лицо грубым рукавом и медленно пошёл к своей койке. Вокруг уже разворачивалась жизнь казармы: кто-то стонал, растирая ушибленные ноги, кто-то тихо плакал в уголке, кто-то с тупой покорностью чистил мундир щёткой. Николаус же лёг на жёсткие доски, уста-

вившись в потолок, где копоть от ламп сплела причудливые узоры, похожие на карты незнакомых земель.

Он думал о дисциплине. О той чудовищной, прекрасной силе, что превращает толпу в механизм. Он ненавидел её. Но также чувствовал эту гипнотическую власть. В этом безумии был порядок. В этом унижении – путь к выживанию. Фогель ломал их не из садизма. Он делал это, потому что на войне сломанные и собранные заново выживают чаще, чем цельные. Цельные – раскалываются от первого удара.

Николаус закрыл глаза. В темноте за веками ему мерещились чёткие, как гравюры, картины: шеренги, повороты, блеск штыков на солнце. Он учил урок. Урок, который должен был спасти ему жизнь.

Снаружи снова завыл ветер, забираясь в щели казармы. Но теперь этот звук был не враждебным. Он был просто частью фона. Частью нового мира, законы которого он начал – мучительно, кроваво – постигать. И самым важным законом было: чтобы выжить, нужно перестать быть человеком. Нужно стать деталью. Идеальной, бесчувственной, послушной деталью.

Глава 26. Язык команд

Перерыв, объявленный капралом Фогелем, не был отдыхом. Это была лишь смена пыток. Вместо физического изнурения – изнурение ментальное. Солнце, поднявшееся к зениту, стало союзником капрала: оно пекло неподвижные шеренги, превращая мундиры в душные, влажные саваны, а кивера – в раскалённые сковороды. Новобранцы стояли, не смея пошевелиться, а перед ними, на невысоком деревянном помосте, Фогель продолжал свой монотонный, гипнотический урок.

Он объяснял команды. Но не так, как объясняют детям. Он вбивал их, словно заклёпки в броню.

– «Ахтунг!» – это не просто «внимание»! Это тормоз для ваших тупых мозгов! Услышали – выключаете всё! Не думаете, не дышите, не живёте! Вы – столбы! Каменные, глухие, слепые столбы! Поняли?

– Так точно, господин капрал! – неслось с плаца хриплое, нестройное эхо.

– Не слышу!

– ТАК ТОЧНО, ГОСПОДИН КАПРАЛ!

Фогель ходил по краю помоста, его тень, короткая и чёрная, как пятно дёгтя, металась у ног застывших солдат.

– «Рихт аус!» – равнение направо! Не смотреть направо! Не коситься! Вы поворачиваете только башки, быстрым, резким движением, как будто вас дёрнули за верёвку! Глаза – на затылок вперёдистоящего! Если он лысый – на мочку уха! Если ушей нет – на шрам! Выравниваетесь по единой линии! Вы – не толпа, вы – лезвие! Одно лезвие!

Йохан, стоявший в шеренге, напрягся. Его огромная фигура и так выдавалась, как башня, но теперь великан старался втянуть голову в плечи, стать незаметнее. Глаза, обычно спокойные, бегали в растерянности. Он слышал слова, но не улавливал смысла. Для него, выросшего в глухой померанской деревне, где главными командами были оклик пастуха и крик мельника, эта череда резких, отрывистых звуков была шифром с другой планеты. «Рихт аус» сливалось в один угрожающий гул, не несущий в себе образа, только смутную тревогу.

Фриц, стоявший рядом, понимал чуть больше. Берлинская улица научила его схватывать на лету, улавливать интонации, отличать приказ от брани. Но и для болтуна команды Фогеля были слишком абстрактны, слишком оторваны от практики. «Вы – лезвие». Ум берлинца понимал это как метафору, но его тело не понимало, как превратиться в сталь. Оно помнило другое: как увернуться от пощёчины городского стража, как ловко стащить яблоко с лотка. Здесь же требовалась не ловкость, а тупое, бездумное подчинение, и это выводило из себя.

Николаус стоял, чувствуя, как пот ручьями стекает по спине. Но его ум был холоден. Юноша слушал не слова, а систему. Разделяя крик Фогеля на компоненты. Каждая команда – это алгоритм. «Ахтунг» – остановка всех процессов. «Рихт аус» – визуальное выравнивание по правому флангу с поворотом головы. В его сознании, отутюженном другой дисциплиной, всплывали похожие, но другие слова, другие построения. Там тоже были «смирно» и «равнение». Принцип был тем же: подавить индивидуальность, создать монолит. Он смотрел на затылок вперёдистоящего парня – заросший тёмными волосами, с красной шеей, – и мысленно проводил через него невидимую ось, к которой должен был привязать свой взгляд.

Фогель дал им пять минут «на осмысление». Шеренги остались стоять, но в них пробежал лёгкий, едва заметный шелест – люди пытались незаметно перевести дух, пошевелить онемевшими пальцами.

Йохан повернул голову, его глаза встретились с глазами Николауса. В них был немой вопрос, смешанный с отчаянием. Великан молча пошевелил губами: «Я не понял».

Николаус едва заметно кивнул. Он бросил быстрый взгляд на Фогеля. Тот отошёл к колодцу, зачерпнул ковшом воды и пил, не обращая на них внимания, спиной к строю.

– Фриц, – прошептал Николаус, не шевеля губами, звук шёл чуть ли не из живота.

– Что?

– Когда будет «рихт аус», не смотри на того парня. Смотри на его правое ухо. Представь, что от его уха натянута нить. И твоё ухо должно быть на той же линии.

Фриц слегка дёрнул бровью, переваривая.

– А зачем?

– Чтобы выровнять шеренгу. Все смотрят на одно место на голове впереди стоящего. Так все головы поворачиваются на одинаковый угол. Получается ровно.

Фриц закрыл глаза на секунду, представляя. Потом кивнул. – Ловко.

Николаус перевёл взгляд на Йохана. Тот всё ещё смотрел на него, как котёнок, выброшенный в бурную реку.

– Йохан, – тихо сказал молодой человек. – «Рихт аус» – значит «равняйся направо». Не бойся. Просто резко поверни голову вправо, как будто хочешь увидеть, что у тебя за плечом. И смотри на верхний хрящ уха того, кто перед тобой. Не на лицо.

Йохан медленно кивнул, его губы шептали про себя: «Резко... направо... верх уха...» Он повторял это как мантру, вбивая в сознание простую, понятную инструкцию.

Свисток Фогеля разрезал воздух.

– На месте! Смирно! «Ахтунг!»

Строй замолк, замер. Тела вытянулись в струну.

– «Рихт... аус!»

Шеренга дрогнула. Головы повернулись. Но это было жалкое зрелище: кто-то повернул слишком сильно, кто-то едва скосил глаза, кто-то, как Йохан, сделал это с такой мощью и резкостью, что хрустнула шея. Линия была кривой, как путь пьяного.

Фогель, вернувшийся на помост, смотрел на это с выражением глубокого, почти философского презрения.

– Вы – позор. Вы – насмешка над понятием «строй». – Его голос был тих, и от этого ещё страшнее. – Ещё раз. И если не получится – простоите так до вечера. Можете и заночевать. Комарья тут хватает.

Он скомандовал снова. Результат был немногим лучше.

В следующий «перерыв», уже не на воду, а когда Фогель отошёл принять доклад от сержанта, в строю произошло маленькое чудо. Фриц, не поворачивая головы, прошепел:

– Йохан, ты слишком сильно дёргаешь. Ты не быка поворачиваешь. Просто башку вбок, на два пальца.

Йохан поморщился.

– Я... стараюсь.

– Не старайся. Делай, – вставил Николаус. – И не смотри на меня. Смотри перед собой. Когда команда – вспоминай, что нужно сделать. Не думай о слове, думай о движении. Слово – это крючок, на который движение навешено.

Он понял, что говорит на странном, новом для себя языке – языке переводчика. Николаус переводил с «фогелевского» – абстрактного, тотального, мистического – на язык простых действий. «Быть лезвием» превращалось в «смотреть на верхний край уха». «Выключить мозги» – в «замереть и не моргать».

Когда муштра возобновилась и Фогель снова рявкнул «Рихт аус!», Йохан повернул голову. Не с той медвежьей мощью, а резко, но соразмерно. Его взгляд упёрся точно в место, где ухо крепится к голове впереди стоящего. Рядом Фриц сделал то же самое. Николаус, стоявший за ними, видел, как их затылки и плечи выстроились в чуть более ровную линию. Это был крошечный успех, невидимый для капрала, но огромный для них.

Так родилась их тайная наука. В краткие минуты передышки, когда Фогель отворачивался, они обменивались не взглядами, а инструкциями.

– «Ум кехрт!» – это «кругом», – шептал Николаус, когда капрал отработывал с ними поворот кругом. – Не размахивай руками для равновесия. Вес тела на правой ноге, левой отталкиваешься и описываешь полукруг. Руки прижаты к швам. Представь, что ты не человек, а флюгер на крыше. Тебя крутит ветер команды.

Фриц добавлял:

– И не смотри под ноги! Смотри туда, куда повернулся! А то Фогель увидит – будет кричать, что ты ищешь потерянные мозги.

Йохан слушал, и его большое, открытое лицо постепенно просветлялось. Сложные манёвры распадались на последовательность простых, почти механических действий. Это он понимал. Он был плотником. Знал, что чтобы выстрогать доску, нужно не просто махать рубанком, а делать определённые, выверенные движения. Армейская муштра оказалась таким же ремеслом. Тупым, бессмысленным, но ремеслом. И у него был мастер – не Фогель, а Николаус, который объяснял чертёж.

К концу дня, когда солнце клонилось к зубцам крепостной стены, а тени стали длинными и усталыми, произошло нечто. Фогель, отработывая сложное построение из шеренги в колонну, скомандовал серию быстрых перемещений. «Абтейлен цур марш! Марш!» Новобранцы засуетились, толкаясь, путая ноги. Все, кроме одного угла, где стояли Николаус, Йохан и Фриц. Они двинулись почти синхронно. Не идеально, но их тройка выделялась на общем фоне хаоса как островок порядка.

Фогель заметил. Он остановил строй и медленно подошёл к ним. Его взгляд скользнул по лицам, по ещё не высохшему поту, сжатым кулакам. Палка-ясеневик слегка постукивала по голенищу сапога.

– Любопытно, – произнёс он наконец, и в его голосе не было ни ярости, ни одобрения. Была лишь холодная констатация. – Вы трое. Вы шепчетесь в строю. Вы думаете, я слепой?

Николаус замер. Сердце ушло в пятки.

– Так точно, нет, господин капрал, – выдавил он.

– Тогда объясните вашу слаженность. Это не случайность.

Молчание. Фриц потупил взгляд. Йохан смотрел прямо перед собой, но в его глазах читался ужас.

Капрал обвёл их взглядом ещё раз, и в его глазах мелькнуло что-то... почти человеческое. Не одобрение. Признание. Признание факта, что даже в самой отборной грязи может зародиться нечто похожее на разум.

– Так, – коротко бросил он, сделав из этого слова вывод. Капрал повернулся к остальным, и его голос вновь обрёл привычную металлическую грань. – Видите, уважаемые господа свиньи? Даже в вашем хлеву находятся особи, которые пытаются не быть свиньями! Может, и вы постараетесь?

Он не стал их наказывать. Но и смягчения не последовало. Оставшиеся полчаса занятий прошли под привычным, давящим гнётом. Когда прозвучал долгожданный сигнал об окончании муштры, и строй, шатаясь, побрёл к казармам, Йохан не выдержал. Он положил свою лапищу на плечо Николауса. Это был тяжелый, тёплый, неловкий жест.

– Спасибо, – прохрипел он, и в этом одном слове была целая вселенная облегчения, благодарности и зарождающейся верности.

Фриц, шагая с другой стороны, фыркнул, но фыркнул тепло.

– Да, спасибо, профессор. Только ты нас теперь вогнал в историю. От тебя теперь все будут ждать чудес.

– Не чудес, – тихо сказал Николаус, глядя под ноги на выщербленный булыжник плаца.

– Просто... чтобы мы выжили. Вместе.

Они зашли в казарму. Вечерняя процедура была той же: умывание ледяной водой, чистка мундиров, тупое падение на койки. Но атмосфера вокруг их троих изменилась. К ним подошли ещё несколько новобранцев – робко, неуверенно.

– Эй, Гептинг... а как там, с поворотом кругом... ты вроде говорил про флюгер...

Николаус взглянул на них. Усталые, испуганные лица. Глаза, в которых ещё теплилась искра надежды не быть раздавленными. Он почувствовал странную тяжесть – не физическую, а моральную. Юноша стал центром. Опора, которую он не выбирал, но которая возникла сама собой.

– Садитесь, – сказал он, отодвигаясь на своей койке. – Объясню.

И он снова стал переводчиком. Переводил язык железной дисциплины на язык человеческого понимания. Говорил о центре тяжести, малых поворотах стопы, фокусе взгляда. Он не был педагогом. Только выживальщиком, который делился картой минных полей.

Йохан сидел рядом, молча кивая, подтверждая каждую мысль своим огромным, одобрительным присутствием. Фриц добавлял едкие, но точные комментарии, превращая скучные инструкции в запоминающиеся образы. «Представь, что на твоей груди – стакан с пивом. Повернулся – не расплескай!»

Так, в зловонной полутьме казармы, среди храпа и стонов, родилось нечто большее, чем дружба. Родилось братство по несчастью, скреплённое не общей кровью, а общим страхом и общей тайной – тайной маленького сопротивления системе через её же понимание. Они создали свой, параллельный язык команд. Язык, на котором «Ахтунг» означал не слепое опечение, а момент максимальной сосредоточенности. «Рихт аус» – не мистическое превращение в лезвие, а простой поворот головы к уху товарища.

Позже, лёжа в темноте, Николаус думал об этом. Он не хотел быть лидером. Хотелось быть незаметным. Но сама жизнь, логика выживания в этом аду вытолкнула его вперёд. Он стал мостом. Мостом между капралом Фогелем и теми, кого Фогель должен был сломать. И, стоя на этом мосту, юноша чувствовал, как с двух сторон дуют ветра: ледяной ветер беспощадной дисциплины и тёплый, неровный ветер человеческой благодарности.

Он закрыл глаза. В ушах ещё стоял гул командирского крика. Но теперь к нему примешивались другие звуки: тихий, доверительный шёпот Йохана: «Спасибо». Едкая, но добрая шутка Фрица. Робкие вопросы других ребят. Это был новый шум. Уже не одиночества, а общности. Хрупкой, рождённой в страхе, но общности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.